

Иван Костин

**ОСТРОВА
СОКРОВИЩ**

ПОВЕСТЬ О СКАЗИТЕЛЯХ

К1 1149494

МОСКВА
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
1991

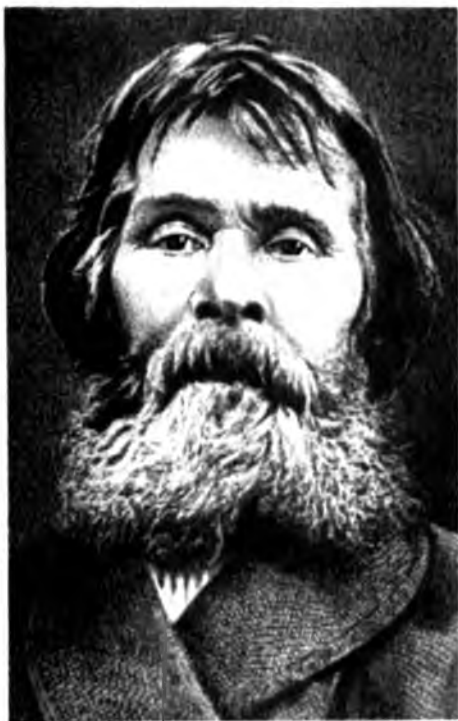
82
8РФ
К72

Художник Ю. В. Самсонов

К $\frac{4702010201-092}{M-105(03)91}$ КБ — 27—1991 № 041

ISBN 5—268—00064—0

© Костин И. А., 1991 г.



Трофим Григорьевич Рябинин
(1791—1885)



АВТОРСКОЕ ВСТУПЛЕНИЕ И ОТСТУПЛЕНИЕ

Война приближалась к концу. Великая Отечественная.

— Почему она Отечественная? — спросил я, тринадцатилетний детдомовец, своего старшего двадцатилетнего брата, только что демобилизовавшегося по ранению. Мальчишеский его лоб во всю длину бороздил шрам, который не портил лицо, а придавал ему особую мужественность. Брат носил на груди две медали. Был представлен к ордену, но награда эта пока где-то бродила в штабных лабиринтах. Василий приехал в село Сенную Губу, что на Большом Клименицком острове, чтобы пожить сколько-нибудь рядом со мной. Податься ему после госпиталя все равно некуда было. Дом наш сгорел — он стоял в отдаленной деревне Хашозеро, где при оккупации располагался финский гарнизон. Деревню знали, поскольку в 1929 году в ней была создана

славная артель «Заонежская вышивка», сохранившаяся и теперь, но, к сожалению, поменявшая адрес. Мать за несколько месяцев до окончания войны умерла, и я очутился в детдоме. Отец продолжал воевать.

— А потому она Отечественная, что отец с сыном рядом воюют. Вот и мы с отцом тоже на фронте неожиданно встретились. А вдуматься если, то вовсе и не неожиданно. Всем миром народ на фашиста поднялся...

Подобное объяснение меня вполне устроило. Главное — живы остались. Я первым из детдомовцев дождался родного человека с фронта. К несказанной моей радости, Василий устроился продавцом сельского магазина, другого местожительства искать не стал. Поселились мы с ним у Катковых, на втором этаже просторных хозяйских хором; их семья остается здесь и поныне. На довольствии меня по-прежнему держали в детдоме, и я целиком был подчинен установленному в нем распорядку.

Василий договорился с нашим директором Анной Владимировной Конниковой (живущей и сейчас в Петрозаводске), что проведет в один из погожих дней экскурсию по округе. И вот как-то в воскресенье, прихватив с собой удочки и еду, мы с утра отправились в поход. Остров Клименицкий самый крупный на Онежском озере, на нем насчитывалось более десятка деревень. Уже и в ту пору некоторые из них оказались заброшены. В деревне Гарницы жители еще были. Мы наловили рыбы и прямо на берегу организовали обед. Осмелюсь сказать, что тогда Гарницы в общем-то не произвели на нас никакого впечатления. Деревня как деревня. Таких много. Те же добротные крестьянские постройки, те же онежские песчаные или каменистые косы и отмели... Ни о чем мы не задумывались, все привычно.

Мы не знали, каким глубоким слоем народной культуры пропитана наша земля, наша малая родина. Ведь именно в Гарницах творили былины, гордость русского эпического наследия, четыре поколения известной ди-

настии сказителей Рябининых и Рябининых-Андреевых, составивших единую родословную ветвь. Последний из рода сказителей, Петр Иванович Рябинин-Андреев, в июне 1941 года ушел на фронт. А опять появился в Гарницах примерно через год после нашего тогдашнего посещения. Правда, семья его перебралась в Петрозаводск, но сам он большую часть лета неизменно проводил в родных местах, не порывая с живительным источником былинного языка предков.

Кстати, с детдомовской экскурсией мы побывали и в деревне Зиновьево, ныне не существующей. В ней родилась и выросла талантливая вопленица Анастасия Богданова, уступавшая в мастерстве исполнения и социальной направленности плачей разве что знаменитой Ирине Федосовой. Не знали мы и этого.

Из эвакуации в Сенную Губу, на порог отчего дома вернулась Мария Федоровна Дьякова, внучка сказителя Ивана Герасимовича, отца Петра Ивановича, а Петр Иванович приходился ей по матери дядей. Она начала преподавать в первых классах нашей школы. Но и это нас тогда не могло заинтересовать.

Возвращаясь мыслями к годам учебы в Сенной Губе и позже, в деревенской школе Хашозера (куда забрал меня после войны отец), я что-то не припоминаю, чтобы на уроках литературы у нас заходил разговор о сказителях своего края. Скорее всего, программа этого не предусматривала, а инициативу учителя проявлять не могли. Да и мы думали совсем о другом.

Маленькая сельская площадь отделяет наш бывший детский дом от каменной Никольской церкви, увенчанной шатровой колокольней со звонницей. Рядом с ней — едва приметное кладбище. Сегодня Никольской церковью, хоть она и не включена в Кижское ожерелье, любят тысячи туристов, так как маршруты стремительных «комет» проложены вблизи Клименицкого острова, причем столь непосредственно подступают к берегу, что в

окнах строений различаются даже переплеты рам.

Сколько раз видели мы эту церковь, ее скромный погост! И не ведали, что на тихом кладбище похоронены не только Иван Герасимович Рябинин и его отчим Иван Трофимович, от которого памятный и послушный пасынок унаследовал быллинный дар. Покоятся тут и предводители Кижского восстания, длившегося с 1769 по 1771 год. Около сорока тысяч государственных крестьян, приписанных к Олонецким горным заводам, взбунтовались против невыносимых условий и отказались от работы. Царским войскам оказывалось стойкое вооруженное сопротивление, но силы были слишком неравны, и восстание жестоко подавили. Оно широко отражено в исторической литературе, однако последние страницы жизни застрельщиков «бунта» не документированы и остались лишь на уровне народной памяти. Настолько, к счастью, прочной, что отрывки бесценных сведений дошли до наших дней в таких достоверных чертах и подробностях, которые исторически оспорить трудно. И сказать обо всем необходимо, ибо отголоски Кижского восстания, потрясшего Заонежье, отразились и на роде Рябининых. Не знали мы и этого. Мы многого не знали.

К постижению своей культуры и истории приходили мы какими-то окольными путями, и то далеко не все. Горько о том говорить и горько думать.

И все же в жизни ничего, видимо, не бывает случайного, все в ней каким-то образом взаимосвязано, и связи эти не обязательно должны «работать» безостановочно. Бывает, что только на продолжительных отрезках времени они проявляют себя в том качестве, как того требует эпоха, меняющая наши ценностные ориентиры.

С той описываемой мной поры прошло около сорока лет, а я вновь и вновь памятью обращался к тем дням и людям, к тем событиям. Тем более что по роду своих

полномочий в Союзе писателей Карелии, отвечающих потребностям моей души, мне часто доводилось сопровождать в Кижии гостей — и соотечественников, и зарубежных литераторов. Маршрут же, как я говорил, пролегал мимо Сенной Губы, мимо деревянного двухэтажного здания, где был наш детский дом.

Однажды в такой поездке судьба свела меня с польской писательницей Моникой Вернески, в ту пору заместителем редактора одного из самых популярных иллюстрированных журналов в Польше — «Перспективье» и заместителем председателя общества «Польша — СССР». Я рассказал ей об истории этих мест, о своем военном детстве и многом другом, что было связано у меня в жизни с этим краем и с этим островом. Каково же было мое удивление, когда через полгода я получил от пани Моники оттиск ее большого очерка, предназначавшегося для «Перспективья». И тогда мне подумалось: если наши «краеведческие» страницы могли вызвать интерес в другой стране, то почему бы не познакомить с ними советских читателей, и прежде всего земляков? И вот в республиканской газете «Ленинское знамя» был напечатан мой очерк «Остров сокровищ». Я никак не ожидал, что за публикацией последует столько откликов. Среди писем было и особенно дорогое для меня — письмо бывшей учительницы Марии Федоровны Дьяковой. (Сейчас она Коваленко, и так сложилось, что живет уже много лет в Крымской области.)

Удивительно, но Мария Федоровна запомнила меня, и в памяти ее сохранился как раз тот эпизод, когда отец приехал за мной в детский дом на казенной лошади, запряженной в широкие крестьянские сани-розвальни. А ночевал он именно у Дьяковых, у кого после нашего отъезда стал квартировать мой брат.

Несколько писем Мария Федоровна прислала одно за другим, и в них обстоятельно, с типичными приметами быта, поступками и характерами многочисленного семейства Рябининых (причем на примере разных поколений)

была показана их жизнь. И, что не менее важно, Марии Федоровне в меру ее сил и памяти удалось показать, как крутые повороты истории отразились на существовании их дома. Во мне тогда зародилась мысль написать документальное повествование о Рябининых. Но как писать и каким сюжетом соединить четыре поколения, когда в 1991 году торжественно отмечают 200-летие со дня рождения основателя этого былинного рода Трофима Григорьевича, а его правнуку, советскому сказителю, в том же году исполнилось бы 85 лет? Сколько воды утекло, сколько событий, больших и малых, отшумело на Клименицком острове, который почему-то никогда не оставался в стороне от всяческих общественных потрясений!

Фольклористы (уже тоже, наверное, четырех поколений) во всех тонкостях изучили наследие Рябининых, однако по части их крестьянского быта, жизненного уклада, взаимоотношений с земляками сведения скупы и не дают достаточного представления о времени, в котором они жили, о том, как это время менялось, как они сами менялись в нем. Может быть, вот она, моя «ниша», какую я смогу заполнить? И форму изложения подсказывают рассказы Марии Федоровны, если превратить их в беседы с восемнадцатилетней племянницей Леной Рябининой-Андреевой, внучкой последнего сказителя рода — Петра Ивановича. Без особых претензий на сюжет и отбор материала, хотя, конечно, так только говорится и отбор, безусловно, нужен. Понадобится ввести в круг героев повести и лиц, на первый взгляд вроде бы не обязательных, порой просто эпизодических. Сделать это я решил потому, что они были живые, непридуманные люди, и потому, что убежден: они в немалой степени будут полнее характеризовать свое время, придавать ему штрихи достоверности. А без таких жизненных «деталей» трудно в надлежащем объеме понять творчество того или иного сказителя.

Здесь мне кажется необходимым хотя бы в общих чертах обрисовать культурное и историческое значение гарницких сказителей, которые творили свою былинную поэзию далеко не на самостоятельных началах — она строилась, с одной стороны, на преемственности, а с другой — на народной памяти, что и помогло выдвинуть ее авторов в первый ряд из огромного числа (не побоимся этого определения) людей, владеющих былинным и песенно-эпическим даром. Ведь Заонежье по праву называют заповедником русского эпоса. И весомую лепту в его славу внесло творчество не только Рябининых, о чем, вероятно, еще придется вести речь, но и других замечательных сказителей.

Приступая к повести, я заведомо хотел как можно меньше использовать вторичный материал, цитаты, но неожиданно вмешался случай. Как раз в те дни, когда я работал над книжкой, Пушкинский Дом в Ленинграде и фирма «Мелодия» выпустили пластинку с близким моему сердцу названием «Былины Русского Севера». На этой пластинке записаны голоса сказителей трех поколений: Ивана Трофимовича Рябинина — в 1894 году, Ивана Герасимовича — в 1921-м и Петра Ивановича — в 1926-м. При основателе рода Трофиме Григорьевиче фонограф еще не изобрели, и голос его не сохранился. Так вот, в связи с выходом в широкую аудиторию живых голосов сказителей на конверте пластинки поместили обстоятельную аннотацию В. В. Коргузалова. Фольклорист пишет: «Открытие этой самобытной яркой культуры былинного сказительства в середине прошлого века П. Н. Рыбниковым и А. Ф. Гильфердингом затмило славу удивительного собрания Кирши Данилова, всколыхнувшего ученый мир в начале XIX века свидетельством эпического творчества русского народа».

Кратко оценивая былинное наследие каждого из сказителей, Коргузалов высказывает мысль, не лишенную здравого смысла: «Династия олонецких сказителей Ря-

бининых-Андреевых — одна из многих (выделено мною. — И. К.), которая попала в поле зрения русских ученых с середины прошлого века и пристально наблюдалась на протяжении четырех поколений». Возможно, подобные династии и существовали. Факт этот оспорить трудно. Но перед нами действительно единственный былинный род, донесший эстафету эпического слова вплоть до наших дней. Было бы вполне реально говорить и о пятом поколении, ибо, как утверждает здравствующая и поныне вдова Петра Ивановича (и остальные родственники), их сын Владимир, призванный на войну в девятнадцать лет и погибший в первые же месяцы боев, уже исполнял некоторые былины, тоже готовился овладеть обширным репертуаром, перешедшим от старших членов семьи...

Как бы там ни было, четыре сказителя — четыре разные эпохи. Их не так-то легко обозначить какими-либо безоговорочными ориентирами, разделить четкими границами. Но все же каждый сказитель, несмотря на целостность и органичность эпоса, привносил в былины и личностное, обусловленное собственным характером, и приметы своего времени. Естественно поэтому, прежде чем приступить к изложению прошедших, вовсе не простых событий, мне хочется представить героев повествования хотя бы в общих чертах.

Трофим Григорьевич (1791—1885) был крестьянином-старообрядцем твердых устоев и нерушимых традиций. Занимался, как и большинство жителей Заонежья, земледелием и рыболовством. Он справедливо считается лучшим сказителем края. И по монументальности и стройности былин, которые он пел, и по тому, что из тридцати сюжетов, записанных у нас фольклористами, он свободно владел двадцатью шестью. Он был классиком былинного сказительства. Голос его, к сожалению, утрачен навсегда.

Иван Трофимович (1833—1909), его сын, исполнял

семнадцать былин. Но есть основания считать, что не все былины, которые он знал, а тем более духовные стихи и песни были от него записаны.

Иван Герасимович (1873—1926), пасынок и восприемник сказительского дара **Ивана Трофимовича**, в отличие от своих предков крестьянствовал на земле мало, периодически. Главным образом в последние годы жизни, совмещая ведение хозяйства со службой на маяке, названном в честь их деревни — **Гарницким**. В общей сложности свыше десяти лет прожил он в **Колпине** и в **Петрограде**. В 1921 году из родной деревни был приглашен в **Петроград** **Институтом живого слова** для исполнения былин и их записи. Ознакомившись со всем творческим наследием **Ивана Герасимовича**, можно говорить о том, что в умении владеть былинной традицией и в чисто количественном знании текстов он не уступал отчиму.

Петр Иванович Рябинин-Андреев (1905—1953), сказитель-орденоносец, член **Союза писателей**, прожил недолго. Но и при жизни не был обойден вниманием фольклористов и массовых слушательских аудиторий. Он хорошо освоил композиционную структуру старых былин, не внося в них существенных изменений. В то же время от него было записано и до десятка новин — былин с новым содержанием, с приметами советской действительности, а то и прямо посвященных отдельным историческим личностям.

Владимир Петрович Рябинин-Андреев (1923—1942), о котором я упоминал и которого отношу условно к сказителям. Итак, по свидетельству матери, **Александры Васильевны**, и сестры, **Анастасии Петровны**, живущих в **Петрозаводске**, он исполнял три былины — «**Илья и Калин-царь**», «**Илья Муромец и Соловей-разбойник**», «**Первый бой Добрыни со Змеем**». «Имеем ли мы право говорить о пятом поколении сказителей **Рябининых**?» — повторяю я свой вопрос. С научной точки зрения, вероятно, нет.

И все же факт этот, заслуживающий сам по себе внимания, я в стороне оставить не мог.

В разговоре о династии нужно коротко остановиться еще на одном представителе рода, уже другой рябининской ветви — Михаиле Кириковиче Рябинине. Он доводился племянником Ивану Трофимовичу и внуком Трофиму Григорьевичу от младшего сына. Творчество его изучено слабо. Фольклористы и официальные органы особого интереса к нему не проявляли. Сравнительно мало былин Михаила Кириковича было опубликовано, и потому о масштабах его сказительского дарования судить сегодня трудно. Известен факт, что одну из былин (новин) он посвятил подвигу Папанина и герой Севера слушал ее в Москве. Папанин подарил автору именные часы. Былину эту вместе с былинами Петра Ивановича в 1940 году издали в Карелии отдельной книжкой.

По сложившейся традиции изучения наследия Рябининых Михаил Кирикович в их ряд почему-то не вписывается. Тут, на мой взгляд, две причины. Во-первых, они с Петром Ивановичем были почти ровесниками и оба могли считаться последними представителями рода. Но Михаил Кирикович был все же из другой рябининской ветви. Во-вторых, что немаловажно, по сравнению с Петром Ивановичем он владел, видимо, более скромным репертуаром, но тоже был принят в члены Союза писателей в 1939 году. После войны Михаил Кирикович переехал в Ленинград. Лишившись родной языковой стихии, привычного образа жизни, он постепенно утрачивал свое значение как сказитель. Однако принимал сильное участие в литературно-общественных мероприятиях Ленинграда. Там я с ним и познакомился в 1973 году во время проведения Дней литературы Карелии. Было ему уже далеко за семьдесят лет. На старика нашли минуты откровения, и он сокрушался, что покинул Заонежье, свою деревню Середка, которая ему снится по ночам.

Вернувшись домой, я под впечатлением этой встречи написал стихи. Непонятно, каким путем (тогда я их еще не публиковал) они попали в книгу В. Г. Базанова «Поэзия русского Севера», вышедшую в Петрозаводске в 1981 году. Думаю, их уместно здесь привести:

Последний сказитель Рябинин
На Невском проспекте живет.
Часы уже полночь пробили,
Но сон к старику не идет.
Он, к песням приученный с детства,
Весь — в мире эпических строк.
Богач, обладатель наследства,—
Былинного слова знаток.
Он, вышедший из народа,
Ушел за словами в народ
И дар знаменитого рода
Достоин по жизни несет.
И ручка к крестьянской ладони
Уже прикипела навек;
В уютном писательском доме
Он свойский, родной человек.
Под люстры, что в доме нависли,
Войдет он — и всяк ему рад.
Но часто сказителя мысли
Домой в Заонежье летят,
Где озеро, как скатеретка,
Из снежного серебра.
В родимой деревне Середка
Давно — ни кола ни двора.
Напишет:
«Сторонка родная,
Прими мой привет и поклон!»
И слышит он в трелях трамвая
Родимых бубенчиков звон...
Великого города житель,
Особенных полон забот,
Земляк мой, последний сказитель
По Невскому тихо идет.

Фактически так оно и было. С уходом из жизни Михаила Кириковича нить былинного слова как-то незаметно оборвалась.

ПЕРВОЕ ПИСЬМО МАРИИ ФЕДОРОВНЫ В ПЕТРОЗАВОДСК ПЛЕМЯННИЦЕ ЛЕНЕ РЯБИНИНОЙ-АНДРЕЕВОЙ

Дорогая Леночка! Ты выросла и стала размышлять о жизни так, как и подобает взрослому человеку. Когда ты была еще в седьмом классе и на уроках литературы разговор заходил о заонежских былинах, о сказителях и ты сказала, что являешься внучкой Петра Ивановича Рябинина-Андреева, ребята тебе не поверили и решили, что сочиняешь. Не поверила поначалу и учительница, подумав, что тут простое совпадение фамилий. А потом выяснилось — все точно. Обижаться тебе не следовало: ведь многим жизнь сказителей кажется уже седым преданием. А ведь если бы был жив сегодня твой дядя Владимир, ему было бы всего шестьдесят с небольшим и он, как и его отец, пел бы былины. Да, для некоторых людей понятие сказитель ассоциируется с чем-то немислимо древним. А тут живая внучка сказителя-орденоносца!

Случалось нечто подобное и со мной, и мне приходилось доказывать, что Иван Герасимович мой родной дед. Мне же было еще сложнее, потому что я носила другую фамилию. Отец мой был Дьяков. А после замужества, как ты знаешь, у меня вообще появилась украинская фамилия. Но я сохранила кое-какие документы, фотографии наших предков, запомнила и записала немало семейных преданий о нашем роде, и ты в этом сама убедишься, когда я приеду в Петрозаводск. Правда, я не очень-то забочусь о том, чтобы окружающие признавали меня за внучку сказителя. Важно память о славных своих предках нести в душе и быть в делах и поступках достойными этой памяти. Я не хочу внушать тебе оче-

видные истины. Ты должна все чувствовать и понимать. Страницы нашей с тобой родословной принадлежат не только живущим родственникам — во многом они стали или становятся достоянием всех, кому дороги истоки русской культуры.

Вот видишь, все-таки сбиваюсь на учительский тон. Сказывается многолетний опыт, и от этого никуда не денешься. Но когда я училась в школе, не было еще хрестоматий, в которых печатались бы былины. Между тем немало учеников в нашей восьмилетке, в том числе и я, конечно, знали множество отрывков из разных былин. Как же иначе! Выросли-то мы на живом народном говоре, среди былин, песен и причитаний. И не надо думать, что былины пели только известные сказители. Нет, почти в любом доме, а уж в каждой деревне наверняка, был свой сказитель или своя вопленица.

Меньше всего хочется рассказывать о моей молодости и о том, что с ней связано, хотя этого трудно избежать. Необходимо, да и время подошло, поделиться с тобой сведениями, которые я накапливала годами, собирала по крупицам факты, отражавшие исторические события, которые не могли не коснуться и наших с тобою предков.

Ты просишь меня рассказать прежде всего о твоём дедушке Петре Ивановиче. Постараюсь передать, что запомнила, но эпизоды эти могут показаться случайными. Запоминается иногда не самое главное, а то, что было угодно памяти. Если что забыла, дополнит бабушка. Память у нее еще светлая. Или твоя тетя Анастасия Петровна.

В его избушке на маяке, фотографию которого я тебе привезу, мне пришлось побывать дважды. Теперь нет этого островка — ушел под воду. Поэтому снимок довоенный, и едва ли он у кого еще есть. Маяк уже после войны перенесли на соседний остров, он побольше раз-мерами. Построили там другую избушку, и уже другие

смотрители несли на нем службу. Но называется он по-прежнему Гарницкий. Хорошо бы ему присвоить имя сказителей Рябининых. Это было бы справедливо. Петр Иванович принял маяк вместе с островом и всем маячным хозяйством в наследство от отца Ивана Герасимовича, как и былинное слово. И когда кончались белые наши ночи, на маяке зажигался приветливый огонек и все проходившие суда и лодки уверенно держали свой путь. И когда Иван Герасимович, а после него Петр Иванович оставались в избушке на ночлег и ночь была особенно темной и ненастной, они на каменистом мысу зажигали костер, который был виден на десятки километров.

Один раз и мне довелось переночевать на острове. Вызвалась я помочь Петру Ивановичу поставить ловушки. Потом остановились на луде. Так называются у нас каменистые отмели. В жаркие дни к вечеру на луды приходят косяки окуней. Наловили мы окуней на удочки. Еще и зорька не угасла, как вдруг небо стало темнеть и набухать тучами. Дядя Петр велел сматывать удочки, и через каких-то полчаса мы были уже на островке. И тут разыгралась буря. В избушке была крохотная печка. Мы сготовили уху и заварили чай. О чем нам было беседовать? У Петра Ивановича свои думы и заботы. В углу висела небольшая икона. Сейчас уже не помню с изображением какого святого. Повесил ее еще Иван Герасимович в первые дни службы. Перед иконой — полочка, а на ней всегда лежала толстая книга. На окне стояла чернильница с ручкой. Это уже завел для себя дядя Петр. Он часто брал и читал солидный фолиант — думаю, сборник избранных былин, потому что он некоторые строчки поправлял, а иные вписывал. Книга не сохранилась.

Горел маячный огонек. Горел огонек в окне нашей избушки, и людям от их света на душе становилось теплее. Даже случайная лодка, застигнутая на озере непогодой, не чувствовала себя затерянной. Да и жители соседних деревень видели, что огонь маяка светится,—

значит, все вокруг идет по установленному порядку.

Петр Иванович подолгу мог быть на острове один. Одиночество его не угнетало. Душа и ум его искали покоя и сосредоточенности. Лучшего занятия, чем маячная служба, для сказителя просто и представить трудно. Иной раз он и по неделе пропадал на острове. Дело у него под руками завсегда находилось. Любил он поздними вечерами при свете керосиновой лампы под шум волны и шелест леса за вязанием сетей или другим занятием петь былины. Он вслушивался в свой голос, добивался большей выразительности. Здесь ему никто не мешал. Иногда отдельные былины записывал в тетрадь, которая лежала рядом с книгой.

Вот и в тот вечер, когда стало ясно, что домой мы не вернемся, он после ужина, походив по острову, сел на любимое место у окна и сказал:

— Давай-ка я тебе, Маня, былинку про «Добрыню и Змея» спою.— И запел невысоким, но чистым и приятным голосом, который был помягче, чем у Ивана Герасимовича. А я сидела и слушала, словно впервые:

Молодой Добрынюшка Никитинец
Родной матушки своей не слушался,
Одевал рубашечки — й — манишечки,
Одевал одежучу — й — опальную.
Да — й — берет копьё он муржамецкое,
Да — й — набрал он много — й — стрелочек каленых.
Выходил Добрыни — й — на широкий двор,
Заходил в конюшню — й — во стоялюку,
Брал коня за поводка шалковья.
Выводил коня он на широкий двор.
Становил он коня посреди двора,
Заседдал он коня богатырского...

Я часами могла слушать былины, когда еще мой дедушка Иван Герасимович их пел. Правда, тогда я совсем была маленькая и уж не все теперь хорошо помню. В детстве былины нам заменяли и колыбельные песни, и сказки.

Дед твой, Лена, имел за плечами три класса церковно-приходской школы. Но много читал и записывал все интересное. Все же по сравнению со своим отцом и дедом грамотой он владел. Был внимательный и любознательный. Наверное, все те былины, которые пел Иван Герасимович, он запомнил. Ведь отец, когда заметил в нем тягу к эпическому слову, специально для него повторял одни и те же былины — на рыбалке ли, за вязанием ли сетей или вечерами на том же маяке. Да и как можно было петь былины, не обладая хорошей памятью? Так, стоило ему, например, раз послушать у патефона песню, как он тут же ее запоминал и мог воспроизвести.

Из пяти братьев и сестер петь по-настоящему былинку выучился только Петр. Очевидно, потому, что больше других проводил время с отцом за разными делами: и на маяке он был ему первым помощником, и в домашних хлопотах. А ко времени женитьбы Петр знал почти весь отцовский репертуар. Но нигде не выступал. Ну, может быть, на свадьбах или на праздниках деревенских — не помню. Я уже в те годы училась в Петрозаводске, в педагогическом училище. Дома бывала наездами. Записывать Петра Ивановича и звать на выступления стали попозже. В 1939 году он был награжден орденом «Знак Почета» и принят в Союз писателей. О нем тогда рассказывали многие газеты и печатали его былины. А уж в 1940-м книжка отдельная вышла. Она и теперь у бабушки хранится, и орден тоже. Именно в то время его пригласили на жительство в Петрозаводск. Квартиру выделили. Приехал Петр Иванович, посмотрел, не понравилась ему городская жизнь, и решил он никуда из Гарниц не подаваться. И с домом отцовским, еще дедовским, жаль было рвать, и со службой маячной, где он чувствовал себя вольным человеком. А для песни ли, былины ли — перво-наперво воля требуется.

Больше других почему-то мне памятен такой эпизод. Было это в лето 1939 года. Мой дядя, а твой дед, значит,

вернулся из Москвы. В Кремле ему вручал орден сам Калинин. В прошлом человек крестьянский, Калинин поинтересовался колхозной жизнью, настроением людей в деревне. О трудностях Петр Иванович говорить не стал, а просто сказал, что жизнь стала лучше, колхоз крепнет. В сущности, так оно и было. Не все же колхозы были бедными. Но это уже иная тема. Петр Иванович привез по тем временам очень дорогой подарок — патефон с набором пластинок. Среди них был и альбом в сафьяновом переплете из пяти пластинок с записью речи Сталина на предвыборном собрании избирателей в Большом театре в 1937 году.

Я с подругами часто приходила к дяде Петру послушать патефон. В деревне он был еще редкостью. А в Гарницах — единственным. Петр Иванович с гордостью откидывал крышку, на которой золотистыми буквами светилась дарственная надпись. Точное содержание ее я уже не помню. Он заводил патефон молча и торжественно, словно исполнял ритуал. Первой ставил пластинку с началом речи вождя и слушал ее стоя и молча. Мы тоже должны были молчать. В эти минуты он вспоминал встречи в Кремле. Нам эту речь слушать большой охоты не было, но и показывать неуважение к вождю даже в семейной обстановке не полагалось. После этого Петр Иванович ставил свою любимую пластинку «Начинаются дни золотые» и, подпевая, притопывал в такт музыке ногой. Потом и нам разрешал выбирать любые пластинки.

После смерти отца все главные мужские заботы по дому легли на дядю Петра. Мать его Марфа Петровна, хоть и не ленилась собственноручно заниматься домашними делами, была женщина с характером и привыкла управлять всем. Да и понятно: Иван Герасимович годами жил в Питере, а хозяйство-то не маленькое, и надо было

держат его под контролем. Старший сын Степан уже работал в городе. Обзавелся своей семьей в Петрозаводске. Вот она и решила женить Петра. Это был 1925 год. А через год не станет Ивана Герасимовича.

Невесту Петра звали Шура Ригачина. На два года моложе жениха. На фотографии, которую ты держишь в руках, они изображены вскоре после свадьбы. Снимок сделан, конечно, в Петрозаводске. Приехали навестить Степана.

По сравнению с семьей Андреевых, дом которых по тем временам был, что называется, полная чаша, Ригачины были бедняками. Дома стояли рядом. А Марфа Петровна была гордая, кичилась и андреевским достатком, и достатком своих родителей, живших в деревне Леликово, что на соседнем острове. Островная жизнь приучила людей к прочной оседлости, к твердому упорядочению быта, семейных традиций. Постепенно стали выдвигаться и богатеть более зажиточные крестьяне, и только колхозы впоследствии как бы уравнили всех в деревне. Хорошо это или плохо — особый разговор. Так вот, поначалу Марфа Петровна воспротивилась этому браку и решительно заявила: «Не хочу принимать в дом голодранку!» Но Иван Герасимович и бровью не повел. Мешать счастью любимого сына он не хотел и сумел утишить, успокоить жену. Был он выдержанным человеком, неторопливым в решениях. Прежде чем что-либо сделать или сказать, все как следует обдумает. И с его мнением считались не только в семье, но и на деревне. Особенно идти наперекор ему не смела и своенравная Марфа Петровна. Ивану Герасимовичу нравилась миловидная и скромная девушка Шура Ригачина. Выросла не в неге да безделье, поэтому будет хорошей хозяйкой, и Марфе подмога, да еще какая. Сама, что ли, не может понять этого. Была назначена свадьба, и прошла она на славу. Тут и Марфа Петровна ничего не пожалела: как же, сын женится — пусть все знают, что не какой-нибудь босяк, а из андреевского рода!

Но и после свадьбы Марфа Петровна смотрела на невестку холодно. Слова приветливого не скажет, работать же заставляла от зари до зари. Иногда Шура выбирала свободный час и уходила к матери. Не жаловалась. Но та видела, что не сладко ей живется со свекровью, и утешала, как могла: «Твоя свекровка еще ничего. Можно ладить. Вот у Вертиловых дочь моей сватьи за старшим Ларионовым, так ей и впрямь житья нету. Перед обедом ее свекровка по какому-либо делу отправит. А когда та вернется, и хлеба уж на столе не видно. Невестка не спросит. А свекровка тут же и оправдывается: старую мякушку доели, а новую начинать до вечера грех. Вот так и похлебают она пустых шей. А то раз сидели обедали. Перед свекром стоял жбан прохладного кваса. Принесли из подвала. Был жаркий день летом. Не знала она порядков и потянулась за квасом. А свекор своей большой ложкой огрел ее по руке: не барыня, мол, и воды попьешь. А за тебя свекор еще и заступится». С тем утешением Шура и возвращалась под чужой кров. И пока был жив Иван Герасимович, в обиду ее не давал. А потом и Петр окреп характером, уже смог перечить матери и все чаще заступался за жену. Марфа Петровна в такие минуты, бывало, скажет: «Я уж и не хозяйка теперь в своем доме», — подожмет тонкие губы и уйдет на другую половину. Хотя прекрасно понимала, что она хозяйка и все с ней считаются.

К тому-то времени, когда Петр Иванович стал признанным сказителем и выступал с былинами, в доме обстановка изменилась, приезжали гости из города — фольклористы, писатели, художники. Приходилось встречать хлебом-солью и заботиться о гостях. Тут уж Александра Васильевна вошла в роль настоящей хозяйки. Дети подрастали, а старший Владимир уже и вовсе в юношу превращался. Петр Иванович готовил и редактировал новые былины, мечтал о выпуске их отдельной книжкой и переписывал уже созданные, задумал рассказать о Кижском

восстании. Много литературы перечитал. Но планы эти осуществить не удалось. Разразилась война.

РАССКАЗЫВАЕТ АНАСТАСИЯ ПЕТРОВНА

Повестку отцу вручили уже в первые дни войны. И был он приписан к отряду ополченцев. В течение лета оставался на своем острове. А в начале сентября был вызван в Петрозаводск. Служил в дорожно-строительном батальоне связником. Вскоре его направили в полк, квартировавший под Сегежой. Из его скурых писем трудно было понять и саму обстановку, и то, чем они занимались. Наверно, часть их готовилась к боям и они изучали военное дело. Ведь таких призывников, кто не проходил срочную службу или проходил уже давно и совершенно в иных условиях, было много, если не большинство. Да и не все в письмах разрешали писать.

Потом он принял участие в изнурительных боях под станцией Масельская. Но об этом мы узнали значительно позже, когда нам хоть и с большим опозданием стали поступать письма из-под Ленинграда, где он сражался в составе войск Северо-Западного фронта. К его ордену, полученному до войны, прибавилась медаль «За отвагу». После боев под Старой Русой он был откомандирован политотделом дивизии в резерв армейских соединений, дислоцировавшихся в районе станции Бологое. Проводил культурно-массовую работу среди солдат и среди раненых в госпиталях. Был на должности начальника дивизионного клуба.

На вопрос о том, выступал ли мой отец на фронте с былинами, могу ответить утвердительно. Потому что и после войны он не раз об этом вспоминал. Бойцы любили живое слово. А человеком он был сам по себе общительным, компанейским, хорошим рассказчиком да

к тому же сказителем. Как же ему было не выступать? Но, конечно, занимался он и устройством концертов солдатской самодеятельности, показом кинофильмов, развитием лекционной пропаганды.

В составе Прибалтийского фронта с боями через Польшу он дошел до Берлина. Был награжден медалями «За взятие Варшавы», «За победу над Германией» и другими. Все они хранятся сегодня у меня, как и его документы, личные записи...

Мы осенью 1941 года эвакуировались в Пудож. Было нас у матери четверо и еще две ее племянницы, оставшиеся без родителей. Брат Володя был из нас старшим. Но в начале 1942 года его призвали и сразу отправили на войну. Вскоре он погиб.

Из эвакуации мы поехали не в Гарницы, а в Петрозаводск. Город был разрушен. Уцелели лишь отдельные дома в центре да кое-что на окраинах. Здесь уже жил наш дядя Степан. Он к этому времени вернулся со своим заводом. По-прежнему был заместителем директора по коммерческой части. Не знаю, что завод выпускал в Сибири, а здесь после войны стали изготавливать машины и механизмы для промышленных предприятий и сельского хозяйства. Позже перешли на выпуск тракторов, и завод стал именоваться Онежским тракторным. Не так давно он отметил свое 200-летие. Стало быть, почти ровесник моего прадеда Трофима Григорьевича.

Дяде Степану от завода был выделен домик с флигельком по ул. Гоголя. Теперь город разросся, а тогда там была пустынная окраина. Здесь мы и поселились. Мать моя Александра Васильевна, я, брат Василий и сестра Ольга. Все трое мы были еще несовершеннолетними.

РАССКАЗЫВАЕТ МАРИЯ ФЕДОРОВНА

А я голодная и раздетая приехала из Вологодской области в Сенную Губу, стала учительствовать. С Петром

Ивановичем после войны встречалась редко, его приезды в Гарницы были нечастыми. Но в один из приездов, когда он выступал в клубе, я хорошо запомнила его новину «Великая победа»:

...Как во том ли году да в сорок первом
Да напали на нас немецкие разбойники
И задумали они думу черную,
Как Россеюшку великую да огнем пожечь,
Истребить у нас да трудовой народ.
Тут и встали грудью воины — полководцы славные
Со своими да солдатами,
Со своей ли армией могучею.
В пух и в прах разбили силы супостатские,
Истребили все их танки с самолетами,
Изничтожили их замыслы коварные,
Флаг Победы над Берлином смело подняли.
Отвечать мы перед миром их заставили...
Пропоем мы славу нашей Красной Армии
И народу — победителю великому
За дела его большие, богатырские
Да за подвиги за ратные суровые!

Дядя Петр иногда вспоминал разные истории из военной жизни. Не всегда, думаю, она была для него легкой, но всем своим рассказам он придавал юмористический оттенок, как бы подтрунивая над собой и своими невзгодами, что было свойственно его характеру.

Я не могу сказать, как проходила вначале его служба. Но знаю, что он оказался в офицерской должности, будучи начальником солдатского клуба. Кажется, в это же время ему было присвоено сержантское звание и жил он на постое вместе с двумя капитанами. Отношения у них были чисто товарищеские, и если в официальной обстановке он обращался к ним по званию, как того требовал устав, то дома они друг друга называли просто по именам, тем более что были ровесниками. Крестьянская натура Петра Ивановича не могла смириться, если в комнате был беспорядок, стояла неубранная посуда,

не было воды и т. д. И он, вовсе не думая о званиях и чинах, принимался за хозяйственные дела, и нередко его сослуживцы-офицеры чувствовали себя неловко, будто он из почтения к их офицерским званиям выполняет ту или иную работу. Сам же Петр Иванович ни о чем таком не задумывался.

Часть была на переформировании. Но шли интенсивные занятия по огневой подготовке и тактике. В состав поредевших рот и других подразделений вливалось немало новобранцев, и они должны были пройти после курса молодого бойца настоящую прифронтовую выучку. Капитаны с утра до вечера пропадали на стрельбище и в поле. Но когда выпадало несколько свободных часов, им хотелось стряхнуть усталость. В обществе Петра Ивановича это им удавалось. Иногда он пел былины. В небольшую комнату порой набивалось до десяти и больше офицеров. Многим было интересно услышать живую сказительскую речь. Но чаще всего Петр Иванович исполнял русские народные песни. Голос у него был чистый, приятный. Многие ему подпевали. Незадолго до того Петра Ивановича наградили медалью «За отвагу». Друзья-офицеры шутили:

— Следующую награду будут тебе вручать в Кремле. К тому времени мы уж наверняка и победу добудем. Будут вручать тебе боевой орден и обязательно скажут: «Молодец, сержант Рябинин-Андреев, не подвел свою боевую часть и не подвел свой славный былинный род. А теперь поезжай домой и заверь своих земляков, что войны больше не будет, пусть спокойно пашут землю».

Петр Иванович лишь посмеивался: до победы еще надо дожить.

Он унаследовал не только былинное мастерство деда и отца, но и весь семейно-религиозный уклад андреевского дома, исходивший из древности, о чем я тебе подро-

но напишу, Лена, в следующем письме. И было ему очень нелегко ломать эти традиции, особенно культовые, в своей душе, когда вынудили время и обстоятельства. Но и это в свой черед. Если летом позволит здоровье, то, того и гляди, я нагряну и мы вместе съездим в Гарницы. Навестим в Кижях могилу Трофима Григорьевича. В Сенной Губе поклонимся праху Ивана Трофимовича и Ивана Герасимовича. В Петрозаводске отдадим дань памяти Петра Ивановича. Там, слава богу, все в порядке. Заботится твоя бабушка, да и Союз писателей присматривает.

Моя бабушка, мать Петра Ивановича — Марфа Петровна, была очень набожна, но не староверка. С детства она всех детей, в том числе и дядю Петю, приучала исполнять все основные обряды, соблюдать посты, молиться перед застольем и на ночь; водила по праздникам и воскресеньям в церковь. И едва он освоил грамоту, заставила по вечерам читать Жития святых, а позднее — Евангелие. Такое воспитание нередко кончалось тем, что люди более впечатлительные (к таким натурам относился с детства и Петр Иванович) неосознанно верили в разные чудеса, сверхъестественные силы и видения. Помню, как году в тридцатом он пришел к нам и прямо с порога заявил:

— Наверно, война скоро будет.

Все наши испугались и спросили:

— С чего же это ты взял, Петенька?

— Шел я наемни через Лисий Бор. Вдруг из-под самых ног будто сноп огня вылетел. Переполохался ажно весь. А когда в себя вернулся, только хвост лисицы увидел. Нет, не к добру это, не к добру. Или вот недавно щука Грешниковым в лодку прыгнула. Ну сам-то я не видел, а на деревне про то говорили. И это тоже не к добру...

А году в тридцать восьмом он вступил в партию. Тогда одно слово «партиец» ставило человека в особые рамки.

Изменился и наш дядя Петя. Стал следить за событиями в газетах. И куда подевались его прежние предрассудки! Надо сказать, что к тому времени уже не стало Марфы Петровны, ее влияния на семью, весь домашний уклад. И слава богу, что не привелось ей увидеть в лице Петра отъявленного безбожника. Полумер в борьбе с религией тогда не знали. Еще бы, по призыву и одобрению Емельяна Ярославского, видного идеолога и главного антирелигиозного деятеля, в это движение были вовлечены даже дети, начиная с 14 лет. Почему в те годы деревенские партийцы первым делом должны были бороться с религией? И боролись, как могли. Из ста двадцати церквей и часовен Заонежья, чем и славен стал наш край, воинствующие комиссары и их подручные разрушили больше половины культовых сооружений. Остальное не успели — грянула война. А после войны приостыли, навалились поважнее заботы. Не удержался и наш дядя Петя от крутых мер. Сжег иконы, которые не успели спрятать. А среди них были и ценные, старообрядческого толка дониконианского письма, оставшиеся еще от Трофима Григорьевича и Ивана Трофимовича. Запретил и гулянья у дома в честь пращура Афанасия, основателя андреевского рода в Гарницах. Праздник этот, Афанасьев день, был установлен церковью в Гарницах как престольный.

ОТ АВТОРА

Мне, к сожалению, так и не удалось встретиться с Петром Ивановичем. После демобилизации из армии я в Заонежье не вернулся и обосновался в Петрозаводске. А до этого свой трудовой путь начинал в Сегеже, в городе бумажников, откуда и был призван. В столицу Карелии приехал осенью 1954 года и с присущей молодости активностью, хотя и без достаточных на то оснований, включился в литературу. Я наивно думал, что редакции и издательства с нетерпением ждут, когда молодой автор

принесет свои стихи и рассказы. Святые надежды. Но без них было бы трудно работать и верить в свои силы. И я работал...

Петра Ивановича не стало в 1953 году. Умер он рано, не дотянув до сорока восьми лет, от перенесенных на фронте контузий и ранений. Жизнь последнего сказителя в городе была нелегкой. Если перед войной после награждения и принятия его в Союз писателей ему предложили квартиру и даже выдали от нее ключи (которыми он не воспользовался), то после демобилизации ему с семьей пришлось скитаться по чужим углам. Город и при отступлении наших войск, и при отступлении противника был, по существу, разрушен. Отстраивался он медленно. Жилья всем вернувшимся с фронта, даже коренным петрозаводчанам, не хватало.

Крестьянин по своей жизненной сути, он не мог в городе сразу найти по душе работу, и, за какое бы дело ни брался, оно его мало радовало. К тому же Союз писателей еще не был восстановлен. Кто из писателей погиб во время репрессий в сталинских лагерях и тюрьмах, кто на фронте. И поддержки как член союза он тоже не имел. Надо принять во внимание и тот факт, что интерес к сказительскому творчеству со стороны исследователей, а может быть, и со стороны некоторой части читателей на какой-то период приугас. Былина как жанр переживала кризис. А обращение сказителей к современным темам и сюжетам отличалось скорее элементами стиливой искусственности, чем органичностью обновленного эпического слова. Так, по крайней мере, объясняли этот завершающийся процесс устного народного творчества фольклористы в своих работах 50—60-х годов. Сегодня же, когда новины себя окончательно изжили, к их жанру, родившемуся в середине 30-х и, судя по новинам карельских сказителей и воплениц (по-моему, тут нет необходимости перечислять их фамилии), благополучно просуществовавшему до конца 50-х годов, сле-

довало бы отнестись внимательней. Не только выявить сюжетные или тематические истоки, но и объяснить саму возможность возникновения жанра, которому сказители отдавали душу.

Нелегко было Петру Ивановичу найти себя в городе в первые послевоенные годы. Он был натурой даровитой, как и все Рябиныны. Понимал, что, помимо личного сказительского таланта, несет в себе и богатство былинного рода. Был он грамотен. Много читал. Записывал свои новины. Иногда, правда очень редко, они появлялись в местной печати. Вел дневник, а сказать точнее, делал некоторые памятные записи каких-то особых, запомнившихся ему событий. Эти записи, как дорогую семейную реликвию, хранит сегодня в домашнем архиве его старшая дочь Анастасия Петровна. Отец ей с детства привил любовь к книге, и поэтому, наверно, не случайно она многие годы проработала в Карельском книготорге. Причем занималась в масштабах республики организацией книжной торговли на селе. И делала это с полной отдачей. Писателей местных «поголовно» знает лично. И отношение к их книгам у нее какое-то заботливо-трогательное. Сейчас она на заслуженном отдыхе.

Мне приходилось беседовать с людьми, хорошо знакомыми с Петром Ивановичем,— с карельскими поэтами Алексеем Титовым и Яакко Ругоевым, Александром Ивановым и Ильей Симаненковым, художником Георгием Стронком, который еще до войны писал портрет сказителя, помещенный в книге былин Петра Ивановича; другими деятелями культуры и теми, кто просто интересовался сказительским творчеством. Все они вспоминали, что у Петра Ивановича к былинам было благоговейное отношение и он готов был полюбить каждого человека, равнодушного к былинам и готового их слушать.

Ну вот, Леночка, мы и встретились. Не узнать теперь ваш Петрозаводск. Да и тебя сразу признать трудно. Сколько лет не виделись. Сами изменились, и все вокруг изменилось. Много стало новых улиц. Названия непривычные. А улицы Рябининых до сих пор нет. Но верю, что скоро и она будет. Вот улица нашей заонежской землячки сказительницы Федосовой наконец-то появилась... В 1991 году — 200-летие Трофима Григорьевича. А деду твоему Петру Ивановичу исполнилось бы 85! Слышала я, что в Петрозаводске уже и юбилейная комиссия создана. Хорошо это. Да и как можно не отметить такую дату?

Я обещала тебе, Лена, рассказать про андреевские корни, про Афанасия, от которого род наш в Гарницах произошел, и про то, как два рода — андреевский и рябининский впоследствии соединились, а сказители стали носить двойную фамилию Рябининых-Андреевых. Начну я издалека. А ты внимательно слушай и запоминай. Может, что и пригодится. Жизнь у тебя вся впереди. Ну, перво-наперво о том, как возникла наша деревня Гарницы. Название произошло из двух слов «гарь» и «ницы» — последнее означает избы. Значит, избы на гари. Когда-то очень давно старoverы устроили в своем храме самосожжение. А на месте нынешней деревни было их поле. Первым здесь и поселился Афанасий, выходец из древнего Новгорода. Ему помогли построить дом его земляки, уже жившие в Сенной Губе. Прожил год. Занимался охотой, земледелием и рыбной ловлей. Собрал первый урожай. Наметил и застолбил, как сказали бы теперь, несколько полян для обработки земли. За зиму набил немало соболей, других пушных зверей. В ту пору в наших лесах (теперь-то и лесов почти не осталось) их было видимо-невидимо. Съездил в Новгород. Продал пушнину и купил необходимую утварь для хозяйства. Уговорил ехать с собой еще пять семей. Ехали медленно, под видом цыганского

табора, минуя царские заставы. Добрались понемногу до Клименицкого острова, где и появились Сенная Губа и Гарницы. Кое-как перезимовали. А по весне все стали строиться. Но если в соседних деревнях у местного населения печи топились по-черному, то у новгородцев — по-белому. Среди приехавших были печники, которые клали печи еще в боярских теремах и знали это ремесло основательно. Переложили они печь и у Афанасия Ивановича. Она им самим была сооружена на скорую руку. С той поры к названию деревни Гарницы прибавляли слово «белые», в отличие от вставшей на другом берегу деревни, которая стала называться Черные Гарницы. И если монахи из Клименицкого монастыря еще позволяли себе немного вольничать в Черных Гарницах и других поселениях, то при переходе в Белые Гарницы соблюдали все приличия. Ты можешь спросить: почему так происходило? Охотно поясню.

Афанасий Иванович оказал монастырю услугу, и немалую. Когда Иван Грозный пожаловал монастырь «правом неподсудным», что было равносильно самоуправлению, сюда были направлены монахи для переписи населения и установления христианской веры. Афанасий Андреев, чтобы войти в доверие к настоятелю монастыря, уговорил деревню окреститься. Больших трудов это ему не стоило, потому что человеком он был авторитетным. Действовал он с согласия дьякона Варлаамия, который прежде служил в мирских часовнях: в Моталове — Ильи Рождественского и в Обельщине — в Климентьевской, а уж потом и в Гарницкой часовне. В монастырских документах он называется «черный дьякон Варлаамий». Так вот, за эти и некоторые другие услуги семья Афанасия была освобождена от монастырского налога. И пока он был жив, а прожил он до 96 лет, до царствования второго царя из рода Романовых, хозяйство его налога не платило.

Афанасий был включен церковью в святые списки.

Его стали побаиваться монахи, потому что он водил дружбу с Варлаамием. С его помощью Афанасий выработал несколько заветов, которые свято в деревне соблюдались. Первый из них не разрешал в Белых Гарницах строиться посторонним; второй воспрещал делить землю между братьями. А если кто задумает отделиться, должен из деревни уйти. Свободной земли в Заонежье еще хватало, даже на острове. Позже начали возникать и другие деревни. Только одному постороннему человеку позволили построиться в Белых Гарницах, выделив при этом немного земли, — сапожнику Ригачину, деду твоей бабушки Александры Васильевны, которой со временем суждено было стать женой сказителя Петра Ивановича. Ригачин, по воспоминаниям старожилов, был очень хорошим сапожником. И перед ним было поставлено условие: шить и ремонтировать обувь прежде всего для жителей своей деревни. И наказ этот он выполнял. На отсутствие работы не жаловался. В Белых Гарницах, кроме Ригачиных, насчитывалось семь фамилий: Андреевы, Буевы, Малинины, Грешниковы, Сарафановы, Гаврилины и Самсоновы. А в более поздние времена традиция неделимой земли была нарушена и в деревне стали образовываться семьи-однофамильцы. Эти фамилии я назвала потому, что по ходу развития дальнейших событий они будут еще встречаться.

Я очень любила Гарницы с раннего детства. Часто гостила у дедушки Ивана Герасимовича. А память об Афанасии хранилась в самих названиях мест, окружавших нас: Андреевское поле, Андреевский мост, Андреевский дом... И вот еще что хочется сказать об Афанасии. Престол его имени был дан деревне сразу после крещения, а не после его смерти, как некоторые ошибочно считали. Теперь-то, поди, все о том уж и забыли. До Афанасия ли — столько потрясений пережили. И внесен был Афанасий в списки святых вместе с установлением престола. А крест стоял там, где прежде проходила староверческая дорога.

Хотели было соорудить взамен часовню Святого Афония. Но появились новые переселенцы и обосновались на месте сгоревшей Григорьевской церкви. Пришлось Варлаамю освящать это место, чтобы здесь построить и часовню Александра Невского, что было ближе духу новгородцев.

На лужайке в Афанасьев день устраивались гулянья. Андреевская семья угощала людей квасом... Фамилию Андреевых взял и сын знаменитого уже в то время сказителя Трофима Григорьевича — Иван Трофимович. В Гарницы он пришел из деревни Середка, что напротив Кижей через пролив. Он рано похоронил жену и через несколько лет женился на вдове своего дальнего родственника Герасима Яковлевича Андреева, поселившись в его доме. С ним было два несовершеннолетних сына. А третий сын, женатый, оставался в Кижях. По обычаю в наших местах, если жених приходил в дом к невесте, живущей с родителями, он обязан был взять ее фамилию. Тут, пожалуй, в самый раз раскрыть еще один секрет: до своей женитьбы сам Трофим Григорьевич был вовсе не Рябининым, а... Малининым. Выросший без родителей, он женился на дочери своих соседей Рябининых. Но Иван Трофимович, в отличие от отца, сохранил свою родовую фамилию, и поэтому она у него стала двойной. Но к этому периоду мы скоро подойдем.

Расскажу я тебе о таких страницах нашего рода, о каких фольклористы не писали или писали мимоходом. Их ведь больше интересовали сами былины, их построения, варианты, способы пения, приемы... Все понятно. Они их записывали, сверяли, сопоставляли, изучали, какая из них полная и чего не хватает в другой на тот же сюжет. Тут, конечно, целая наука, и я судить о ней не берусь. Хотя труды эти читала и сделала вывод, что традиция в передаче былин была устойчива, что особенно наглядно она сказалась на рябининском роде. Но в нашем роду были устойчивыми и предания бытовые и исторические:

не случайно они сохранились со времени Афанасия до наших дней. Все ли в них верно — категорически утверждать не стану. Многие документами не подтвердишь. Но к народной памяти тоже надо относиться с уважением.

Здесь, в Петрозаводске, я часто сидела в архивах, в библиотеке. Искала материалы по истории Кижского восстания, жизни монахов Клименицкого монастыря. Встречалась с историками, фольклористами. Но очень уж они показались мне какими-то однобокими. Все держатся за с в о и схемы. Меня это сердило, и никому больше ничего я рассказывать не буду. А ты все запиши, может, когда и пригодится.

Так вот, ученые-историки писали о Кижях и о Рябининых одно и то же, только разными словами. Взять тех же Рябининых. Нередко себе представляют так: дескать, простые крестьяне, неграмотные люди, и умиляются, что они много былин помнили, пели их по памяти. А то и просто не хотят знать, что каждый из них в свою эпоху был личностью. О каждом из них можно целый рассказ составить.

Фольклористы, к примеру, не знают и того, о чем я уже упомянула: о первоначальной фамилии Трофима Григорьевича. А если бы и знали, то промолчали. Зачем, мол, вносить путаницу в установившиеся понятия. А правда все же требует света. Повторяю — он был Малининым. Рано осиротел. Воспитывался миром. А когда ему исполнилось восемнадцать лет, переехал из Гарниц в деревню Середка, в дом своего тестя Ивана Андреевича Рябинина. Вот с тех пор, примерно с 1819 года, он и стал носить эту фамилию.

В Кижях опять было беспокойно. Народ, притесняемый властями, страдавший от казенной трудовой повинности, а также от все возрастающей подати с крестьянского двора, проявлял недовольство, которое порой выливалось в открытое неповиновение. Восстание 1769—1771 го-

дов здесь еще не было забыто ни самим народом, ни теми, кто обязан был поддерживать установленный порядок. До нового восстания дело все-таки не дошло, потому что усмирители были всегда начеку. Усмирили и это волнение, оно в истории края даже особого следа не оставило. Виновных, как и следовало ожидать, примерно наказали. Был порот розгами и Трофим. Он получил 35 плетей, а его тесть Иван Андреевич — 40. Вот о том-то нигде и не написано. А может быть, сами сказители не хотели рассказывать тем, кто записывал от них былины и какие-то воспоминания. Тут надо учитывать, что для крестьян-сказителей приезжающие исследователи были людьми другого мира — господами. И возможно, перед ними они далеко не во всем раскрывались.

Предание об этой кижской смуте в нашем роду передавалось из поколения в поколение. Теперь вот и ты узнаешь и детям своим будущим передашь, что от меня слышала. А происходило это так. Офицер усмирительной команды всех допрашивал и в тетрадь записывал, чтобы потом губернатору отчет послать. Я думаю, что отчет должен храниться в каком-либо архиве. Когда очередь дошла до Трофима, он ответил, что приехал сюда из Гарниц и на смуту никого подбивать не собирался. Старший команды удивился: «Как же ты сюда попал? Ведь Гарницы деревня монастырская и смутьянов там быть не должно...» Трофим пояснил, что он недавно принят в дом к Рябинину и теперь живет в Середке. «Зачем же ты бунтуешь? — спросил офицер. — Еще ни разу и на работах-то казенных не был». Трофим помялся и ответил, что куда люди, туда и он. Офицер осерчал и сказал, что это тесть втянул его в смуту. И приказал Трофима отпустить. Тестю же его велел выдать сто розог! Но староста понимал, что такого наказания старик не вынесет. А если умрет на лавке от побоев, то может начаться новое волнение. Офицер передумал — 75 розог. Староста опять шепнул, что старик не вынесет. Жена и теща Трофима

запричитали, стали прощаться с Иваном Андреевичем. Тогда Трофим обратился к офицеру с просьбой принять наказание за тестя на себя. Тот улыбнулся, похвалил зятя за его преданность. И объявил: «75 — на двоих!» После этого Трофим с неделю не мог ни встать ни сесть. А тесть до конца дней чувствовал «принятые» розги... Зятя оценил по достоинству и завещал ему все хозяйство.

В дом к Ивану Андреевичу часто приходил его родственник Илья Полянович, и они вдвоем пели былины. Трофим прислушивался, а может быть, даже знал уже некоторые из них. Не зря же, будучи пожилым человеком, в разговоре с собирателем фольклора Рыбниковым, приехавшим в Середку специально для встречи с Трофимом Григорьевичем, он говорил ему, что учился петь былины в детстве у волкостровского старика Ильи Елустафьева и у своего дяди Игнатия Андреева. Но одно другому не противоречит. Илья Полянович тоже был потомком новгородских переселенцев и, вероятно, перенял былины у дедов.

Когда позднее Трофим Григорьевич пел былины в Петербурге, его спрашивали, от кого он унаследовал столь редкие способности. И среди других учителей он всегда называл тестя Ивана Рябинина и его родственника Илью Поляновича. Но поскольку сам Иван Андреевич и его родня считались смутьянами, ретивые чиновники вычеркнули их из разряда исторических личностей. Вот и получается, что род Рябининых известность начинает приобретать после кижских событий 1809 года.

Первое же крупное восстание в Заонежье 1769—1771 годов описано в работе историка Я. Балагурова, которая так и называется «Кижское восстание». Но в ней, я чувствую, многого недостает. Наука обходит народные предания, если на этот счет не имеется документальных подтверждений. А разве на всякий случай жизни документов напасешься? И к народной памяти тоже следует

относиться с уважением, стремиться понять ее правильно. Понять сердцем, а не только умом, и тогда истина раскроется для тебя полнее. Я и сегодня убеждена, что многие из преданий можно подкрепить документами, если за изучение их взяться поосновательнее, помня, что нередко открытия совершались не специалистами, а энтузиастами.

АВТОРСКАЯ РЕМАРКА

Я в который раз перечитал труды фольклористов и краеведов, посвященные творчеству наших сказителей, особенно в той их части, где речь идет о жизни и творчестве самого Трофима Григорьевича. Среди его учителей они не без основания называют и Илью Елустафьева, и Игнатия Андреева, и Василия Сарафанова. Есть сведения о том, что некоторое время Трофим жил в рабочих у Федора Трепалина, который тоже считался в округе знатоком былин. Но какова здесь роль Ивана Андреевича Рябина, давшего ему и свою фамилию? Думаю, что вопросом этим пренебрегать нельзя.

Я ознакомился с публикациями нашего замечательного краеведа Ивана Михайловича Мулло и убедился, что специальных исследований о сказителях у него нет, на которые почему-то в своих беседах и письмах ссылалась Мария Федоровна. Возможно, она запомнила и спутала с какими-то иными работами? Время, разумеется, все прояснит.

Решаю поговорить с Иваном Михайловичем и прежде всего, конечно, интересуюсь, не располагает ли он какими-либо данными об Иване Андреевиче Рябине.

— Да, определенные поиски в этом направлении я предпринимал, потому что еще в молодости слышал от старых краеведов и художников версию о перенятии былин Трофимом Григорьевичем от Ивана Рябина. Видел

даже у художника Попова графический портрет его. Видимо, портрет условный, ибо фотографии быть еще не могло. И самого Трофима сфотографировали позднее — в Петербурге.

Заинтересовавшись родословной сказителей Рябиных-Андреевых, я не только прочел о ней всю основную литературу, но и встретился для конкретного разговора с покойным ныне членом-корреспондентом АН СССР, бывшим директором Пушкинского Дома Василием Григорьевичем Базановым, а также со здравствующим ныне членом-корреспондентом АН Кириллом Васильевичем Чистовым. Запомнились такие слова Василия Григорьевича:

— Когда смотришь на творения рук народных мастеров, невольно проникаешься гармонией деревянного зодчества, слышишь неповторимый заонежский говор и начинаешь понимать, что знаменитые Кижы — это лишь часть единой большой и неповторимой культуры Заонежья, которая как воздух щедро была растворена во всем: в деревянных ремеслах и зодчестве, в устном народном творчестве и своеобразии одежды заонежан, в строгих северных чертах иконописи и чуть приподнятом красно-речивом штиле первых писателей-полемистов северной Руси — братьев-старообрядцев Андрея и Арсения Денисовых, что сами были родом из Повенецкого уезда. В нашем Доме, в Древлехранилище содержатся ценнейшие источники по истории и культуре Карелии, особенно Заонежья. Это собрание рукописных книг, которое найдено преимущественно в Заонежье, и насчитывает оно свыше 800 рукописей и свитков. А сколько еще не обнаружено либо погибло в войну или просто в результате нашего невежества?! Все это богатство — в вашем распоряжении. Приезжайте, в любое время его перед вами раскроем. Заодно и книгу подарю о заонежской свадьбе.

Книгу мне Василий Григорьевич подарил. Богатствами Древлехранилища Пушкинского Дома я тоже восполь-

зовался, точнее сказать, прикоснулся к нему. И тут мне бы хотелось поделиться хотя бы самыми общими сведениями о выговской литературе XIV—XIX веков. Что это такое?

Сказители Рябинины в первых двух поколениях выросли и воспитались в условиях патриархально-старообрядческого уклада. Идеология раскольников пустила в Заонежье глубокие корни, породила особую культуру, влияние которой так или иначе испытала на себе каждая крестьянская семья.

Выговское старообрядческое общежитие существовало в районе, где сливаются реки Выга и Лекса. Оно выдвинуло из своей среды (помимо братьев Денисовых) многих талантливых писателей-полемистов. Трудями одаренных выговских книгописцев и художников был создан неповторимый стиль книжного орнамента и рисунка. Выговские исторические и литературные произведения отличаются оригинальностью формы и изложения. Они содержат массу интересных подробностей местного быта. Есть факты, подтверждающие, что великий русский ученый Михайло Ломоносов в юности работал и проходил школу ремесел в среде мастеров Выговского общежития.

...Со вторым известным знатоком фольклора, Кириллом Васильевичем Чистовым, автором монументального исследования жизни и творчества знаменитой вопленицы Ирины Федосовой, я вот уже на протяжении двух десятилетий поддерживаю дружбу. Не так давно в Петрозаводске вышла его книжка «Русские сказители Карелии». В ней есть главка и о Рябининых. И поскольку я еще не завершил рассказ о патриархе этого рода — Трофиме Григорьевиче, приведу небольшой отрывок:

«На Ладогe собирался захожий и заезжий люд из разных мест. Для некоторых былинное слово было в диковинку. И поэтому умение Рябинина ставилось высоко. Рыбников, в частности, писал о том, что Трофим Гри-

горьевич привык на Ладогe «видеть уважение и удивление к своему знанию былевой поэзии». И далее: «В праздничные дни рыболовы обыкновенно собирались с разных судов в один круг слушать Трофима Григорьевича. Если приходила очередь ему дежурить у лодки, то кто-нибудь из слушателей брался исполнять это дело на сойме¹, а Трофим Григорьевич в это время пел и сказывал былину без умолку. «Если бы ты к нам пошел, Трофим Григорьевич,— говорили рыбаки,— мы бы на тебя работали: лишь бы ты нам сказывал, а мы бы тебя все слушали»».

Слушали с исключительным вниманием Трофима Григорьевича не только ладожские рыбаки или свои земляки-заонежане, слушали его впоследствии в городах люди самых разных сословий.

ПРОДОЛЖЕНИЕ БЕСЕДЫ МАРИИ ФЕДОРОВНЫ

Очень досадно, что порой краеведы путают даты, позволяют себе вольное обращение с теми или иными страницами жизни сказителей. О некоторых из этих ошибок еще придется говорить, а сейчас, когда речь идет о жизни Трофима Григорьевича, хочется уточнить одно обстоятельство. Так, краевед Павловский, бывший музейный работник, от 7 сентября 1967 года в газете «Вперед» сообщает читателям о том, что Трофим Рябинин в 1817 году женился и поселился в деревне Середка. Но ведь в нашем роду устойчива память о том, что Трофим Григорьевич женился в 1809 году. Именно это обстоятельство и привело его вместе с тестем под розги усмирительной команды! Конечно, такие детали лучше бы всего подкрепить документами, но где их возьмешь, если время не сохранило?! Хотя сам факт венчания Трофима Григорьевича в кижской Преображенской церкви был засвиде-

¹ С о й м а — большая палубная лодка.

тельствовав, и, возможно, если хорошо поискать, то в каких-то архивных документах нужную запись удастся обнаружить.

АВТОРСКАЯ РЕМАРКА

О том, что Трофим Григорьевич женился не в 18 лет, а позже, мне доводилось читать и у других исследователей. Но и утверждение Марии Федоровны оспаривать не возьмусь. Это даже не в моих авторских интересах. Поэтому участие Трофима Григорьевича в тех кижских событиях могу принять как одну из вероятных гипотез. Я пишу не научный труд и вполне допускаю, что некоторые факты и даты, связанные с жизнью сказителей, можно будет аргументированно пересмотреть.

ВТОРОЕ ПИСЬМО МАРИИ ФЕДОРОВНЫ ЛЕНЕ РЯБИНОЙ-АНДРЕЕВОЙ

Дорогая Леночка! Я обещала описать тебе давние события, происходившие в Кижях (а под словом «Кижь» я подразумеваю всю бывшую Кижскую волость), так, как они сохранились в моих записях. А складывались они из рассказов памятливых людей, для которых история родного края была словно вчерашним днем. Нередко исторические события переплетались с песнями и былинами. В Заонежье в старину многие умели петь былины, причитать. В нашем роду сказителями были не только представители по материнской линии. Например, моя бабушка по отцу Евдокия Степановна Дьякова составила до войны три былины. Они были опубликованы. Одна из них, помню, о гражданской войне. Петр Иванович помог их напечатать. А гонорар пришел уже как раз на ее похороны... Но все это так, к слову.

Кижское восстание было подавлено в июле 1771 года.

Карательный отряд Урусова вступил в Кижы в ночь на 30 июня. Рано утром к Урусову явился староста Кижской трети Семен Костин в сопровождении крестьян. Он заявил: «Крестьяне ея величеству повинуются, но подписками обязаться ни единый не намерен и не будет». А это означало отказ выполнять работы на приписных рудниках и каменоломнях. Руководители Кижской трети, не получив отсрочки, были арестованы. К утру 1 июля в Кижы сошлось и съехалось более двух тысяч крестьян из разных волостей. Они зашли за церковную ограду погоста и оказались в ловушке. В воротах были установлены пушки. Урусов приказал стрелять... Грянул залп. Появились убитые и раненые. А в это время Клим Соболев, главный предводитель восстания, вернулся из Петербурга, куда он ездил с прошением об освобождении крестьян от заводских повинностей, что было равносильно барщине. Он был арестован в своей деревне Романовской на Толвуйском погосте. Трем главарям восстания — Климу Соболеву, Семену Костину и Андрею Сальникову — вынесли самый суровый приговор: по сто плетей каждому, вырезать ноздри, наложить на лицо раскаленным железом клейма из трех букв «ВОЗ» (первые буквы слова «возмутитель») и сослать на вечную каторгу на Нерчинские рудники. Да, да, на те самые, куда спустя полвека собирался приехать Пушкин к друзьям-декабристам.

Это все документы, которые ты смогла бы прочесть и без моей помощи. Но они упрощают события. А вот что к ним прибавляет народная память. Клим Соболев самовольно отправился в Петербург вместе с некоторыми крестьянами, чтобы передать лично в руки Екатерины II то прошение и другие просьбы. Остановились они тайно у своих земляков, работавших на кондитерской фабрике. Клим долго выжидал момент выезда императрицы. Теперь для нас уже не важно, куда и по какому поводу. И когда ее карета следовала мимо скопища людей с обнаженными и склоненными головами, она приоткрыла дверцу и

движением белой холеной руки стала благословлять подданных. Случилось так, что Клим Соболев оказался рядом с колесом кареты и, не раздумывая, ринулся к вытянутой руке: «Матушка императрица! Смилуйся. На тебя вся надежда!» И он протянул ей приготовленное прошение. Царственной руке ничего не оставалось, как принять бумагу и тут же захлопнуть дверцу. В толпе возникло замешательство. Этим-то Соболев и сумел воспользоваться — он скрылся. Народные ходоки за правдой решили, что дело сделано и можно спокойно возвращаться домой.

Кто-то из иностранной миссии видел описанную сцену и вечером за карточным столиком во дворце поинтересовался, что за прошение передал странный мужик. Екатерина считала себя просвещенной монархиней и при случае поддерживала эту репутацию, особенно перед иностранцами. Она и поведала иноземному собеседнику историю кижских волнений, которые уже утихали. И когда тот спросил, как же она поступит и будет ли мужик наказан за дерзость, она ответила, что, обо всем подумав, решила смягчить указ, уже подготовленный ее Берг-коллегией, о вечной каторге, к которой приговаривались главные смутьяны.

...Всех арестованных разместили в петрозаводской тюрьме. Родным сообщили о дне их отправки на каторжные работы в Сибирь с последующим вечным поселением. Разрешили с арестантами проститься. Их вывели во двор. Туда же допустили родственников. Такого скопления народа тюремный двор еще не знал. Соболев, Сальников и Костин держались рядом, опираясь друг на друга. У них были вырваны ноздри, а на лицах красовались буквы «ВОЗ». Подвели к ограде, разделявшей двор. Старший команды стал понуждать арестованных, чтобы они показали народу остатки своих языков. Соболев говорить не мог — у него был отрезан конец языка. Костин молча плакал. Было жаль оставлять детей, семью. Сальников

стал говорить (по всей видимости, языки были подрезаны только у Соболева и у Костина), но его сразу оставили, потому что покаяния в его словах не было. Тут появился генерал Лыкошин, командовавший войсками, и зачитал указ императрицы: вечные каторжные работы заменялись 15-летней ссылкой. Но Соболев не в пример многим не стал в благодарность молиться за здоровье императрицы. Он смотрел в сторону мучителей ненавидящим взглядом и сжимал за спиной кулаки. Тут и он понял, что «добрая» царица заодно с истязателями.

Как же развивались события дальше? Младший сын Семена Костина получил надел земли на острове Букольниково, который относился уже не к Кижской, а к Сенногубской волости. Построился там и взял к себе мать. Поэтому Семен Костин после возвращения из Сибири и благополучной домашней кончины был похоронен не в Кижках, а в Сенной Губе (ему запрещалось выезжать из своей деревни). Вернулся в родные края и Клим Соболев. Семьи у него не стало, кормильцев тоже. И ему было определено несколько деревень для сбора милостыни. А кижанам категорически возбранялось вступать с ним в общение. Прожил он на воле еще пять лет (Костин немногим больше).

Однако и после расправы над участниками восстания события эти имели продолжение. Но о них расскажу в следующий раз, а то боюсь что-либо упустить.

АВТОРСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Как только не называли раньше путешественники, а за ними и современные туристы Кижы и его окрестности: «Заонежская Эллада», «Остров сокровищ», «Кижское ожерелье»... На одном из островов кижских шхер воздвигнут известный далеко за границами Карелии архи-

тектурный ансамбль, который свыше двух с половиной веков составляет редкую гармонию с царством лесов, воды и камня. И гармония эта неразрывна. Правда, в последние годы среди ученых-химиков, реставраторов, энтузиастов и просто любителей старины все тревожнее звучат голоса о необходимости срочно спасти Кижь. Статьи об этом не сходят со страниц местной и центральной печати. Что ж, остается надеяться, что будет найден универсальный способ сохранения памятников деревянной архитектуры, тем более что спасти-то со временем придется не один архитектурный ансамбль, состоящий из двух церквей — Покровской и Преображенской и стройной шатровой колокольни, но и другие памятники, пусть менее знаменитые, но не менее любимые в народе, разбросанные и по этому острову, и за его пределами.

На том же острове похоронен и наш прославленный земляк Трофим Григорьевич Рябинин. На старом кладбище, имеющем многовековую историю. Могила его казалась утраченной. Безуспешны были попытки работников музея «Кижь» найти безымянный холмик... И вот совсем недавно выяснилось, что в Петрозаводске живут праправнуки Трофима Григорьевича, и с их помощью определено примерное место захоронения первого сказителя из рода Рябининых. Хочется надеяться, что по крайней мере по случаю его 200-летия на ограде заповедной музейной зоны вместо памятной доски, гласящей о том, что «этой земле принадлежит прах знаменитого сказителя...», появится указатель к самой могиле Трофима Григорьевича, на которой будет установлен... Впрочем, пусть это решат компетентные организации.

Знакомясь с материалами Кижского восстания, я делал пометки в блокноте скорее по привычке записывать интересные факты, чем с какой-либо заранее продуманной целью. Но тем не менее «по следам» записей у меня родилось стихотворение, увидевшее свет несколько лет назад

в журнале «Север» в моем заонежском цикле. И поскольку оно отражает те незабываемые события, я привожу его здесь:

Возвращаюсь снова взором в давнее:
Новые обриту рекрута.
Кижское восстание подавлено,
И расправа царская крута.
Кто сечен был, кто на дыбе корчился,
А на ком-то выжгли буквы «ВОЗ».
И когда тот ад кровешный кончился,
Напряженно смолк Петрозаводск.
Самых стойких из числа зачинщиков,
Непокорных, в горе удалых,
Их, крестьянской вольности защитников,
Заковали глухо в кандалы.
Что-то конвоиры строго гаркнули,
Уловив короткий взмах руки,
И погнали их в Сибирь на каторгу,
В нерчинские норы-рудники.
Для семей пропавшие заведомо,
Шли они, страдая от желез.
Что в пути творилось — нам неведомо,
Кто дошел — был тоже не жилец.
Если бы, болезные и стылые,
Грамотой владели бы они,
Декабристы в штольнях их фамилии
Прочитали бы в иные дни.

ТРЕТЬЕ ПИСЬМО МАРИИ ФЕДОРОВНЫ

Приехать пока не соберусь. Но появилось время продолжить свой рассказ в письме. Так вот, когда Клим Соболев вернулся из Сибири, он первым делом наведился к старым друзьям. Понять его речь было трудно, а так как он владел немного грамотой, то разговаривал по запискам. Но и грамотных было раз-два и обчелся. Общение его с людьми затруднялось. Кижане стали просить его возглавить новое выступление. Он отказался, ссылаясь на то, что не может отдавать команды. Тогда

его убедили находиться хотя бы рядом с народом для воодушевления. На это он согласился. В течение трех суток ему велели ждать. Между тем выступление не состоялось. В последнюю минуту дело провалил Анцифер Трофимов, бывший Соболеву другом и шурином: тот был женат на его сестре Алене. По преданию, она славилась красотой и знатным рукоделием. Тайно в нее был влюблен купец из соседнего Космозера по фамилии Елесов. Однажды поздним вечером он посетил Алену. Свободно разъезжать и заходить к ней он побаивался. И не зря.

К чему я это говорю? Восстание еще было в памяти людей. Больше того, в лесах Заонежья действовал повстанческий отряд из крестьян, отказавшихся от казенных работ, в нем насчитывалось до 70 человек. В этом отряде находился и Анцифер. Плохо бы пришлось непрошеному визитеру, если бы Елесов не сумел внушить брату, что приезжает к его сестре с добрыми намерениями и хочет на ней жениться. А развода с каторжным Климом добиться ей ничего не стоит. И если Анцифер поможет сестру уговорить, то и он все уладит в городе и его, Анцифера, не тронут. Трофимов очень беспокоился за судьбу сестры, потому и уступил. Так Алена вышла замуж вторично. Ко времени возвращения Соболева у нее уже было двое детей.

Клим, когда вернулся, от отчаяния готов был сунуться и не в такое пекло. И он направился в Кургеницы, где жил Трофимов, чтобы поговорить с ним о новом выступлении, если против лиходеев придется опять идти всем миром, а заодно подробнее расспросить про Алену, хотя в первый же день по приезде домой узнал про ее замужество. Анцифер с ним делил многие невзгоды. Вместе они побывали в Петербурге с челобитной в 1770 году, и Клим был уверен, что на Анцифера можно положиться. Но время и обстоятельства меняют человека. Душевные силы нередко покидают его прежде, чем физические. Именно

это и произошло с Трофимовым. Он приветливо встретил Клима, угостил его и стал рассказывать, как Елесов улестил сестру и принудил к разводу. Соболев заново пережил потерю любимой жены и жестами показал, что задушит купца-обманщика, а детей с Аленой заберет к себе. Трофимов стал успокаивать бывшего товарища, доказывая ему, что еще одной каторги Клим не вынесет да и Алена от этого счастливее не будет. Мало-помалу Клим остыл. Смирился.

От всякого очередного выступления Трофимов открестился. Клим молча встал, разорвал записки и бросил их в жараток на догоравшие угольки. Он сообщил друзьям, что утешить их нечем. Оставалось гадать — выдаст их Анцифер или нет? Клим заверил, что не выдаст. Он не мог даже представить воследовавшего. Сразу после его ухода из Кургениц Трофимов заложил коня в легкие выездные санки и другой дорогой помчался к зятю в Космозеро. А тот ночью выехал в Петрозаводск и рано утром был у правителя канцелярии горных разработок Бутенанта с подробным докладом обо всем услышанном. Для принятия надлежащих мер в Кижскую волость послали вооруженный отряд.

Тем временем трое суток Клим Соболев ждал посылного из Кижей. Люди чувствовали, что снова что-то затевается, и были готовы, как и раньше, постоять за свою горькую правду: заводская повинность приводила крестьянские хозяйства в упадок. На третьи сутки со стороны Кижей показалась лошадь. Соболев взял корзину, бросил в нее куски хлеба и вышел навстречу. Но вот на солнце сверкнули пуговицы мундира человека, идущего впереди лошади. Клим все понял и остановился. И пока подвода не поравнялась с ним, он не тронулся с места. Подъехавшие спросили: «Кто таков и куда направился?» Близился вечер. Соболев показал корзину. Знаками объяснил, откуда и куда идет. Его посадили на подводу и привезли к нему домой. В избе — хоть шаром покати, однако обыск

провели старательный. Стали допрашивать. Он от всего отказался и только мотал головой. В угрозах купцу признался. Но тут причина была личная. В Кижях тоже допросили многих, а толком ничего не могли выяснить. Старший команды, капрал, пришел к выводу, что Елесов в доносе перестарался и пытался свести личные счеты с Соболевым. На всякий случай всех строго предупредили, и на том дело кончилось.

О кижских волнениях разных лет мне приходилось слышать от старых, памятливых людей. В Кижях стояла еще та самая казенная изба, где допрашивали «смутьянов» перед тем, как везти их в острог. В ней, а поскольку было лето, то, возможно, и подле нее наказывали плетью Трофима и его тестя. Бывая в Кижях, мы всегда считали своим долгом побывать в этом доме.

И уж нельзя пройти мимо того факта, что дед Ивана Трофимовича по материнской линии, Иван Андреевич, был дружен с Соболевым и в ходе Кижского восстания (он значительно моложе своего товарища) выполнял обязанности связного между старостами деревень. Но наказания ему удалось избежать. Вины его установлено не было. Про эти и многие другие события Иван Трофимович слышал от своего деда. А от Ивана Трофимовича эти рассказы перешли в андреевский род. Наша родня состояла в родственных отношениях с потомками Семена Костина. Тогда родственные традиции чтились, их соблюдали и по праздникам гостились. Не то что теперь, когда человек порой не знает, за кем замужем его родная племянница или кем ему доводится брат мужа, сестра жены.

Я помню, как мы всей семьей ездили на Рождество Пресвятой Богородицы в гости к Костиным. С Шурой Костиной мы вместе учились. Не раз с нею навещали в Сенной Губе могилы Ивана Трофимовича и Семена Костина, опахивали их платками по местному нашему обычаю... Но о том, почему их могилы оказались рядом, расскажу в другом письме или при встрече.

АВТОРСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Предполагаю, что следующий рассказ Марии Федоровны будет о жизни, о поездках Ивана Трофимовича и его выступлениях с былинами. Они переходили изустно из поколения в поколение, прежде чем были записаны. Но на сказителях эти записи никак не отразились. Они по-прежнему держали былины в памяти и передавали своим детям и внукам. Хорошо и правильно их петь — значило талантливо владеть искусством былинного, вообще сказительского слова. Сами-то сказители, за исключением нашего современника Петра Ивановича Рябинина-Андрева, былин не читали. Живая жизнь хранила их былины. Иван Трофимович прекрасно знал весь отцовский репертуар, если такое слово здесь применимо. Так вот, сказители пахали землю, сеяли и собирали урожай; занимались рыболовством, ухаживали за скотиной, растили и воспитывали детей в тех же традициях крестьянского лада. Благо избы были просторными, а руки — не знающими усталости. Да и крестьянский труд, размеренный и неторопливый — будь то вязание сетей или плетение корзин, домашнее столярничанье или езда на лодке, — располагал к песне, неистощимой беседе, к пению былины. Но былина, в отличие от бытовой или лирической песни, не отражала дум и волнений исполнителя. Приметы повседневности не вписывались в героические сюжеты былинных сказов — их эпическое начало было как бы над ними и не опускалось до мелких забот, личных радостей или неурядиц.

Заонежская глухомань, оторванность края от больших дорог и промышленных центров помогли сохранить крестьянину относительную свободу духа. И это в свою очередь сделало край колыбелью русской эпической поэзии. Суровой, под стать строгим героическим былинам казалась в те годы природа Карелии с ее нетронутыми лесами, гранитными глыбами скал, нависшими над задумчивыми

озерами. Поэт Николай Клюев, мать которого тоже слыла причитальщицей, ходивший в свои молодые годы по Заонежью и, несомненно, беседовавший со сказителями, написал в 1912 году выразительные строки:

Я пришел к тебе, сыр-дремучий бор,
Из-за быстрых рек, из-за дальних гор.
Чтоб у ног твоих, витязь-схимнице,
Подышать лесной древней силищей.

К карельской былинной тайге он обратится и в конце творческого пути со стихами такой эпической мощи:

Мы свое отбаяли до срока —
Журавли, застигнутые вьюгой.
Нам в отлет на родине далекой
Снежный бор звенит своей кольчугой.

Бесспорно, этой «древней силищей» дышали и наши сказители. Былина, повествовавшая о том, «как день за днем бежит, словно дождь дрожит», или как богатырь на своем коне «мхи-болота перескакивал, мелкие озера промеж ног пускал», и как Микула Селянинович «каменья-коренья вывертывает, а крупные каменья все в борозду валит», показывала суть природы нашего края и нелегкий труд земледельца. Интересно вспомнить, что именно под образом Микулы Селяниновича выведен Клюев в повести «Сумасшедший корабль» Ольги Форш, в которой все действующие лица зашифрованы, но легко угадываются. Повторю, что быт в былинах отодвигается как бы на второй план. Но если в былине воспевается природа, то певец не отмечает шорохи леса или отражение спокойного озера, низкую парусину северного неба, а видит перед собой и широкую степь, и плавно текущую в необозримую даль реку, и «сырой дуб» где-нибудь на берегу.

Однажды мне в руки попала довольно редкая книжка — «Сказитель Иван Трофимович Рябинин», вышедшая в Томске в 1895 году. С тех пор она не переиздавалась. А жаль. Ее автор, Евгений Ляцкий, судя по всему, и

организовывал выступления нашего рапсода в столице. В своих раздумьях о заонежской былинной традиции он утверждал: «Прошло несколько столетий — и мы застаем эпос далеко от привольных берегов Днепра, на Севере, несколько на Волге да кое-где в Сибири. А на Украине и в центральной Руси и памяти о былинах не сохранилось...»

Невольно хочется поразмышлять о великой живучести эпического слова. Грамотный человек может не обладать хорошей памятью. Он заменяет ее книгами, записями. Пользуется иными видами информации, духовными благами. Даже на своем опыте мы видим, как память тускнеет. Да мы и не горюем по этому поводу. Возьмем с книжной полки справочник, сверим цитату, а если потребуется, то с помощью другой книги напомним читателю (а заодно и себе), что по такому-то поводу говорил Лев Толстой, а что Герцен; надо — и до Гомера с Горацием доберемся. И вроде уже окружили себя оболочкой накопленного человечеством знания... Предки наши не имели роскоши книжного общения с прошлым. Они должны были обладать собственной безотказной памятью. А лучше всего она закреплялась в песнях, плачах, былинах, в пословицах и поговорках. Так, к примеру, землячка Рябининых из деревни Лисицино Ирина Федосова изумляла современников: по свидетельству М. Горького, «она помнила на память 30 тысяч стихов — более, чем в «Илиаде» и «Одиссее». Подобной поразительной памятью отличались и сказители Рябинины. Иного оружия творчества у них не было. Вот почему и бытовые предания, переходящие от поколения к поколению и дошедшие до наших дней, сохранили детали и подробности жизни в их свежести и достоверности. Былина, как песня или причитание, для тогдашнего жителя Заонежья была основой его духовной культуры, его книгой и музыкой души.

Иван Трофимович являл собой прекрасный образец

всех качеств. Был он человеком замечательной памяти, наделенным высоким художественным чутьем и воображением. И все же среди многих стихов и былин, которые он знал, чаще всего исполнял любимые: про Вольгу и Микулу, Илью Муромца и Добрыню Никитича, а из духовных стихов — про распятие и Воскресение.

По воспоминаниям очевидцев, в свои шестьдесят лет он выглядел моложе. В русых волосах и бороде не просвечивала седина. Серые глаза смотрели молодо и добродушно. Был он небольшого роста. Одевался в поддевку старинного покроя. Движения его были неторопливыми. Вел себя спокойно и с достоинством. Говорил не пространно и вдумчиво. Был не обидчив, даже когда причины для этого возникали. К своему былинному и песенному сокровищу, хранящемуся в памяти, относился весьма серьезно. Тот же Евгений Ляцкий описывает:

«Когда в консерватории его попросили не петь былинку целиком, а исполнить только начало, а потом перейти к следующей, он буквально был растерян:

— Как же это так? Что же это будет? Мне так петь вовсе необычно. Спою я вам начало былины, вы и скажете остановиться... А может, лучшие-то слова у ней как раз в конце и сказываются? Вот оно и выйдет всем нехорошо. И вам былина не понравится, а мне срамота одна. Нет уж, по мне, коль хочешь слушать, так слушай всю былинку. А так что же это — одно баловство».

Иван Трофимович, подобно своему знаменитому отцу, придерживался всех догматов старой веры: не курил, не пил хмельного, строго соблюдал посты, в разговоре никогда не употреблял бранных слов. Во время постов питался капустой и квасом. И этим традициям, а точнее, заветам не изменит он и в городе. В дома, куда его приглашали петь стихи и былины, приходил со своей чашкой-ложкой. Держался с почтением, но независимо.

ВТОРАЯ БЕСЕДА МАРИИ ФЕДОРОВНЫ С ЛЕНОЙ

Снова я побывала, Леночка, в Сенной Губе и в Гарницах. Тосковала по родине все это время. Как у нас говорили раньше в Заонежье, стесила свою тоску. Снился мне дом наш андреевский в Гарницах. Словно я хожу по нему и ищу в нем что-то позабытое. В Сенной Губе около церкви увидела плиту на месте, где был захоронен Иван Трофимович. Пора бы установить памятный знак и на могиле Трофима Григорьевича. Я сказала об этом в сельском Совете, но не знаю, сумеют ли они это сделать без содействия республиканских общественных организаций. Все ждут команды и указаний сверху. Но, с другой стороны, подумаешь: какие могут быть у сельсовета деньги?

На мемориальную плиту для Ивана Трофимовича средства были выделены лет двадцать назад. А изготовили ее совсем недавно. Поэтому и деньги не все решают. В те годы за хлопоты взялся Союз писателей. Но у чиновников терпения не хватило довести дело до конца. Или скорее — просто желания. Еще была жива дочь Ивана Герасимовича, Пелагея Ивановна Воронцова (а моя мать Ольга Ивановна — его младшая дочь; было у него пятеро детей). Тетка Пелагея оставалась единственной на свете из детей Ивана Герасимовича, и она точно указала могилы отца и деда, где были вкопаны столбы, обозначившие места для дальнейшего установления надгробий. Но пыл энтузиастов вскоре выдохся, наверное, они ушли с должностей. Так ведь часто бывает. Столбы простояли больше десяти лет и почернели от времени. Местные, а следом за ними и приезжие люди стали называть их почему-то «тарановскими». Может быть, по фамилии какого-либо деятеля. Не знаю. Рядом с могилой Ивана Трофимовича был построен... общественный туалет. Я в те годы как раз гостила на родине и возмутилась этим актом вандализма. Ходила по разным учреждениям

в Петрозаводске, была тревогу, доказывала (а что доказывать-то!) необходимость почтительного отношения к сказителям, составившим гордость и славу нашего края. Теперь вот на петрозаводском телевидении есть программа «Какие мы наследники?». В ней и ведется разговор о сохранении памятников истории и культуры. Жаль, что прежде нельзя было сказать обо всем вслух и назвать имена конкретных лиц, по чьей вине утрачена наша красота, наша историческая память. В общем, после принятых усилий (я воевала не одна) дело несколько сдвинулось с мертвой точки.

Тут надо отметить и заинтересованность ребят из студенческого отряда Армении. Когда они от меня узнали, что собой представляет этот остров, какие исторические события на нем происходили и какие люди здесь жили, они не остались равнодушными. Написали куда следует письма. Возвращаясь домой, как стало мне известно после, зашли в Министерство культуры России, поведали обо всем увиденном, просили вмешаться. Уж им-то, казалось бы, что до наших забот, до памяти о наших сказителях! А вот ведь, отозвались душой... Не знала я тогда, сколько еще горя придет на армянскую землю. Как-то сложилась судьба этих ребят?! Когда услышала об армянском землетрясении, собрала и выслала свои нехитрые сбережения. Да разве только я? Весь наш народ откликнулся. Помоему, долг культурных людей на все отзываться — и на радость, и на беду, коль она грянет.

А я уехала расстроенная. Мне стали опять сниться Гарницы. И я решила борьбу (тут иного слова не подберешь) продолжать. Написала в «Литературную газету», настаивала, чтобы поскорее убрали «тарановские» столбы, снесли туалет... И наконец-то вспомнили о памятных знаках. Письмо пустили по инстанциям. Из карельского Союза писателей мне ответили оперативно и вежливо. Там ответственным секретарем работал уже более молодой и энергичный товарищ. Он просил меня не волноваться,

заверил, что все сделает. Ох уж эти заверения! Как я к ним привыкла! Написал он, что сам любит народное слово и готов за него идти в огонь и в воду. Но в огонь идти не требовалось. Достаточно было (при наличии выделенных уже средств!) объединить усилия с республиканским Обществом охраны памятников. От столь жарких заверений сомнения мои улеглись. И напрасно. Наступило глубокое молчание. Я поняла, что снова тупик. Адресуюсь в Общество. Мне сообщают, что памятная плита Рябиных находится в Сенной Губе и будет доделываться на месте. Но тамошние родственники проверили — нет никакого памятника. Наконец, выясняют, что он лежит на складе в Петрозаводске. Я опять пишу в Союз писателей этому энергичному деятелю, что был так приятен в своих ответах. Пишу, что приеду в Сенную Губу, сфотографирую злополучные столбы вместе с известной пристройкой и направлю материал в «Литературную газету»:

Вероятно, мои письма и хождения подействовали. Гранитную глыбу завезли в Сенную Губу, после чего она еще с год пролежала перед окнами сельского Совета. Местные власти решили, что поскольку гранит не плавится, то с ним ничего не случится — пусть полежит. С наступлением новой навигации плита была изготовлена. И хоть надпись на ней по своему художественно-эстетическому оформлению оставляет желать лучшего, но, как говорится, не все сразу. Тогда убрали и эти столбы... Вот такая история.

И уж коли я завела разговор об Иване Трофимовиче, расскажу тебе все, что слышала о нем от наших андреевских и от других старых людей. Многое я запомнила, но многое и забыла. Вот записать бы все, когда была моложе да памятьвей. Думалось, кому это нужно, кроме нас, родственников? Легко уехать из дома, да тяжело возвращаться обратно даже памятью. Есть у нас в Заонежье

поговорка: «Хорошо в людях, да тяжело в грудях». Приезжаю я на родину и мало кого уже узнаю. Выросло новое поколение, и не одно. Вытесняет из жизни стариков. В один из таких приездов сложила я песню на старинный лад и пела в клубе как былину. Ее записали. Позже в Великой Губе фольклорный ансамбль стал ее исполнять. Может быть, и мне что-то по наследству досталось от нашего былинного андреевского рода? Вот послушай-ка, я тебе отрывок из этой песни напою:

Как во той ли во далекой во Карелии,
В Заонежье во родимом, во Сенной Губе,
Скоро к Троице там водушка распóлется,
И откроется там камень осередь губы.
Вы подъедьте к тому камню в час

полуночный,
Загляните в воды светлые хрустальные
И увидите на дне вы лодку, тиной
оплетенную.

А над лодкой волны плещутся онежские,
Серебристые рыбешки резво плавают.
Вы прислушайтесь к тому ли плеску тихому,
И расскажет серый камень быть далекую.

Насмотрелась я на житье своих земляков. Думаю, что серьезную ошибку допустили при ликвидации мелких хозяйств. Слили их у нас в один большой совхоз «Прогресс». И на том прогресс земледелия на нашем острове и кончился. Нормальная жизнь края нарушилась. Вроде по форме люди остались хозяевами земли, но в то же время дирекция совхоза, за сорок верст от острова, давала одно указание за другим. А сами тоже устали от указаний Карельского агропрома. И люди начали разъезжаться. Интерес к земле угас. Произвольное землепользование привело к тому, что лучшие поля на Клименицком острове, где прежде вырастала рожь выше человеческого роста, запущены. Теперь здесь сеют травы, тогда как прежде и естественных лугов хватало.

И поголовье коров, не говоря уж о мелкой живности, было раза в три больше! Да и сами заонежане, сказать по правде, тоже пообленились, многие предпочитают жить на дачный манер. Благо летом каждый день «метеор» по нескольку рейсов в город совершает. Дошло до того, что молоко и сметану привозят из города. Куда же дальше? Разве могли о таком подумать наши предки! Правильно написал один карельский поэт, когда сравнивает старого крестьянина с современным земледельцем:

Раньше все дома. Теперь что есть сил
Носится по миру — стар он иль молод.
Раньше он в город продукты возил,
Нынче спешит за продуктами в город.

...Как я оказалась в Крыму? После войны еще года два работала в Сенной Губе. А потом брат Анатолий вернулся из армии. С женой. Сделалось тесновато. Я переехала в поселок Красный Бор, ближе к границе с Финляндией. Там мне самой пришлось организовать начальную школу. Из Петрозаводска ко мне на жительство вскоре перебрался младший брат Валентин. Устроился и он на работу. Но был слаб от недоедания и часто хворал. Что-то было неладно у него с легкими. А тут уезжали мои хорошие знакомые в Крым. Стали и нас уговаривать. Собрали мы свои сбережения и тронулись в путь. Вещи нас не обременяли. Уже из Крыма сообщили родственникам, где мы. Все удивились. Брат быстро пошел на поправку. Южная природа была целительной для его организма. Затем он женился, зажил отдельно.

Ну вот, хотела рассказать про Ивана Трофимовича, а разговорилась про себя... Продолжу в следующий раз.

КОСТЕР НА ОСТРОВЕ

(Авторские заметки и размышления)

Нужна ли человеку сегодня былина? Для меня лично этого вопроса не существует. Не задумываются о нем и многие мои земляки. Причитания воплениц, сборники былин, время от времени выходящие в нашем издательстве, расходятся быстрее иных поэтических сборников. Можно говорить о том, что современные читатели, в том числе и молодые, вдруг вспомнили о своих корнях, истоках народной культуры. Но можно говорить и о том, что в силу целого ряда причин устное народное творчество, и прежде всего былина, было основательно подзабыто. А ведь былина сопровождает человека всю его жизнь. Нет, вовсе не обязательно, чтобы он держал перед собой раскрытую книгу былин и она была бы его настольной книгой. Речь о самом былинном слове, впитавшем в себя и наши российские шири, и эпический шум лесов, которые, как их ни уничтожай, как варварски с ними ни обращайся, еще находят силу шуметь над твоей головой. Так и великое русское слово, может быть, впервые ощутившее свою мощь именно в былине, осеняет нас свежестью и сказочной красотой от младенчества до глубокой старости, когда раздумчивый и мудрый слог былины особенно трогает и наполняет светом душу.

Былину и все, что связано с ее происхождением, сегодня, по моим наблюдениям, любят. Я бы даже сказал, что какой-то новой, необычной любовью. Наверное, так происходило всегда: в трудные дни для страны, когда в народе бурно пробуждается или должно пробудиться национальное самосознание, он ищет опору своему чувству и разуму в истоках, в народной мудрости, в страницах героического прошлого, в чистоте родного слова, не замусоренного губительными отходами и примесями современного канцелярско-бюрократического жаргона и молодежного сленга. И это подобно тому, как наши могучие

реки и неоглядные озера уже вызывают о помощи, перенасыщенные ядовитыми стоками промышленных предприятий.

Погружаясь в былинку или сказку, в горькую правду народных причитаний, которые наряду с былинами в Заонежье (да и не только в Заонежье!) имели всеохватное влияние, человек словно припадал к живому незамутненному роднику. Мог возвыситься в большом и добром деле, утешиться в тяжелые минуты.

За последние десять лет мне много приходилось выступать в самых разных аудиториях — перед шахтерами Инты и звероводами Олонца, студентами вузов и сотрудниками научных лабораторий. Перечитав сотни умных книг и повидав не меньше дюжины цивилизованных стран с их музеями и архитектурой, я не раз и не два делился с людьми всем этим приобретенным богатством. Конечно, меня слушали. Там, где следовало, аплодировали и вежливо улыбались. И я должен был бы чувствовать удовлетворение от таких встреч. Но почему-то полного душевного согласия с собой не было. А потом понял, что от столь благоприятной атмосферы никому ни холодно, ни жарко. Я не говорил о своем сокровенном, а брал чужое словно бы напрокат. Не помню уже, что меня к тому толкнуло, но я вдруг в выступлениях стал ставить во главу угла родное Заонежье с островами народных сокровищ, где в равной мере щедро представлен и былинный эпос, и жемчужины деревянного зодчества, и заонежский говор, не размытый до сих пор. Я стал рассказывать о своих поисках в работе над материалом о жизни и творчестве наших сказителей — Ирины Федосовой, Рябининых, Щеголенке и других. К моему удивлению, меня слушали как никогда внимательно, без поддельного интереса, который иногда легко прочитывается на лицах. Во многих цехах или залах обязательно находились земляки либо дети моих земляков-ровесников, выросшие уже в городе. Кто-то из них нередко дополнял мои рассказы собствен-

ными примерами и наблюдениями. Тут мне трудно удержаться, чтобы не привести такой случай.

Как-то у меня была встреча в городе карельских бумажников — в Кондопоге. После вечера ко мне подошла женщина средних лет и назвалась родственницей сказителя Щеголенка. Я не уточнял степень родства. Дело-то ведь давнее. Но мне было приятно видеть, что вот уже в четвертом и в пятом поколении люди помнят и берегут память о предках и она не тускнеет. Женщина (Ольга Петровна) спросила, известно ли мне о том, что ее прадед Василий Петрович Щеголенок странствовал по Руси и гостил у Льва Толстого. И я сумел пополнить ее сведения о нашем замечательном сказителе.

Сапожное ремесло, которое он знал в совершенстве, кормило его в дороге. Как и его земляки Рябиныны, он выступал в Петербурге. С Толстым его познакомил Елпидифор Васильевич Барсов, живший в Петрозаводске пять лет, с 1865 по 1870 год. Здесь он записал почти все известные причитания от Ирины Федосовой. Великий писатель и знаток глубинного народного слова, Толстой пригласил Щеголенка в Ясную Поляну, где он провел лето 1879 года. На основе легенд и преданий, услышанных от Василия Петровича, Лев Толстой составил цикл «Народных рассказов». Находившийся в то же время в Ясной Поляне художник Илья Репин нарисовал маслом портрет заонежского сказителя, а словесный его портрет хорошо передал сын писателя Илья Львович:

«Летом 1879 года у нас в Ясной Поляне гостил рассказчик былин Щеголенков.

Его звали по отчеству — Петровичем.

Его манера рассказывать былины была похожа на пение слепых, но в его голосе не было той противной гнусавости, которая в них действовала на меня всегда отталкивающе.

Почему-то я помню его сидящим на каменных ступенях, на балконе, против кабинета отца.

Когда он рассказывал, я любил разглядывать его длинную, жгутами свившуюся бороду, и его бесконечные повести мне нравились.

В них чувствовалась глубокая старина и веками наработанная здравая мудрость народа.

Папа слушал с особенным интересом, каждый день заставлял рассказывать его что-нибудь новое, и у Петровича всегда что-нибудь находилось.

Он был неистощим».

В записной книжке Льва Толстого каждый день появляются записи легенд, услышанных от сказителя: «Инок», «Соломон», «Каменщик», «Иван Павлов», «Архангел», «Два странника», «Плакида-воин», «Дерево», «Александр, Ерыжкин и Нарышкин»... Всего двадцать шесть легенд. Среди них есть библейские и евангельские, но большинство бытовых, связанных с жизнью крестьян русского Севера. Барсов их назвал «Мужицкие новеллы».

Имя великого писателя затронуто мной не случайно. Даже на примере его творчества смело можно утверждать, что былинное слово оказало свое влияние на нашу литературу и продолжает его оказывать. И если бы мне довелось специально исследовать данный вопрос, я бы обратился ко многим именам и ко многим произведениям, в том числе и современных писателей. Но это в мою задачу не входит. И все же я не могу обойти хотя бы еще одно литературное имя. Я имею в виду уже упоминавшегося мной олонецкого баяна Николая Клюева, поэта и страстного публициста. Опять-таки лучше предоставить слово ему самому, тем более что его былина-гимн, пропетая во славу русской избы, очень коротка, но красноречива:

«Когда зима, кто белобрысый — линять начал, лежанка-боковушка в сон уходила: устье ея с тряпочкой для туга запиралось, а золу поземок матушка-родитель на дорожный крест в старом решете выносила. — Туда, где дороги крестом связывались: — одна на Лобанову Гору, другая же в леса, к медведю схимнику в гости.

С вербных капелей, вместо лежаночного, божничный огонек живет. Божница наша в полтябла, двурядница; внизу Марья Ягипетская из гульной девки святой становится, о`стенку — крест морской, соловецкий: припадешь ухом — море в нем шумит и чайцы соленые, что англичанку на Зосим Саватия нападать отвадили,— стоном ветровым, карбасным стонут.

В верхнем тябле Образ пречистый, Сила громовая, свят, свят, свят. Четверка огненных мерин в новый, на железном ходу тарантас впряжены, и ангел киноварного золота вожжи блюдет. А в тарантасе Гром сидит — великий и православный пророк Илья.

Помню, матушка-родитель лампадку зажигала: одиннадцать поклонов простых, а двенадцатый огненный неугасимый. От двенадцатого поклона воспламенилась громовая икона, девятый вал Житейского моря захлестывал избу, гулом катился по подлабочью, всплескивая о песчаный берег, и мягкий, освежительный, вселяя в душу вербный цвет, куличневый воскресный дух, замирал где-то на задворках, в коровьих соломенных далях...»

Избяной былинный космос Николая Клюева без границ, потому что каждый человек может уловить в музыке его строго ритмизованной речи, которая отнюдь не воспринимается нарочитой, что-то свое, сокровенное. По выражению самого поэта, «у кого уши не от бады дубовой, тот и журчание лесного ручейка услышит»... И далее, говоря о влиянии народного былинного слова, Клюев продолжает:

«От старины выискивались люди с душевным ухом; слышат такие люди, как пырей растет, как зерно житное в земле лопается: норовит к солнцу из родимой келейки пробиться, как текут слезы незримо, слезы людские... Называл же русский народ таких людей досель баянами за то, что баяли баско, складно да участливо. Покуль не было на Руси грамотных баянов, то сказ им велся устно, перехожим был.

В белом полукафтани, в лисьем, с алой макушкой на колпаке, при поясе, с хитрой медной насечью, ходил баян по немеряным родным волостям, погостам да городищам, и был он гостем чайным, желанным не только избяным мужикам али темным боярским, но и палатным княжецким, а подчас и государевым. Не завсегда баян в потнике ходил, и иногда в террике бархатном щеголял, в сапогах выворотных козловых, с мореным красным закаблучьем, меж носов-носов хоть стрела лети, под каблук-каблук хоть яйцо кати...

Что думал народ, в чем его правда да сила муромская — все баяны стихом выражали, за ретивое кажинного человека красным умильным словом задеть ухитрялись, вот эта-то удаль песенная, пересказанная ныне, искусством зовется...»

И тут Клюев подходит к самой сути разговора о том, что устное творчество жило и бытовало не замкнутыми островками местных границ, наречий и диалектов, а было достоянием всего русского народа, и более того — проникало в другие родственные славянские языки и само было готово к восприятию лучшего.

На одном литературном вечере, организованном обществом любителей книги по моей повести о вопленице Ирине Федосовой «Слово вольное поведаю», меня спросили, что такое былина и как я понимаю былинку. Я ответил, возможно, несколько упрощенно: когда я приезжаю к себе в Заонежье, дух древней былины меня сопровождает повсюду — слушаю ли шум вековых сосен над могилами моих предков, которые покоятся здесь до девятого колена; внимаю ли размеренному ритмическому накату волн на каменистый берег Онега; прохожу ли заросшим лугом среди яркого разнотравья, где сегодня некому косить траву. Но даже и в этой картине видится мне что-то оставшееся в наследство от тех далеких эпических времен, когда на моей земле звучали живые и такие понятные мне и теперь голоса наших сказителей. Однако

я мог бы не пускаться в подобные объяснения, если бы прочел на вечере стихи, которые были написаны позже:

Перемен и ломок не тая,
Жизнь меня дыханьем опалила.
Но деревня древняя моя
Вся — как бы застывшая былина.

Выйду за околицу — шумит
Разнотравьем пестрая долина.
Душу и волнует и щемит
Первородство мира, как былина!

Дерево шумит передо мной —
Слушаю лесного исполина.
И опять овладевает мной
Древняя могучая былина.

Дует мне в лицо грядущий век.
Слышу, перемен грядет лавина.
Гром ударил, молний пересверк —
Это зарождается былина!

Упреждаю придиричвого читателя — мне далеко до самобытных строк Клюева, будь то проза или поэзия. Но ведь и у меня тоже «уши не от бадьи дубовой», и я могу расслышать не только эпический шум сосен или богатырский размах онежских волн, но и мягкий шелест шелковистых крылышек бабочки, с которых сыплется нежная золотистая пыльца. В своем ответе на вопрос, как я понимаю былинку, по форме я был, конечно, не прав. А по существу, по сути душевного состояния восприятия мира — прав!

Можно вести обстоятельный разговор о развитии или устойчивости различных жанров устного народного творчества, и в научной фольклористике все эти вопросы давно изучены и достаточно глубоко разработаны. Но поскольку нас интересует былина, то и речь сегодня главным порядком о ней.

Заонежье в пору расцвета былевой поэзии, который трудно очертить строгими временными рамками, расширяло свои экономические и торговые связи. Если возникновение новгородских былин исследователи относят к XII веку, то на карельской земле, а еще точнее — в Пудожском крае и в Заонежье былина появилась, видимо, в XIV веке. Потому что именно с тех пор, как образовался постоянный торговый путь из Новгородского княжества к Белому морю, земли Заонежья стали обживать выходцы с берегов Ильмень-озера и Волхова, а позже — раскольники, бежавшие от преследований официальной церкви и насилия над их верой государства. Они несли с собой глубинную русскую культуру, заимствованную у баянов и творцов народного духа Киевской Руси, начинавшей приходить в упадок. Центральным персонажем первых былин, несомненно, был князь Владимир Красное Солнышко. Мудрый правитель, хлебосольный хозяин, на пирах которого гости рассаживались не по чинам и титулам, а по боевым заслугам. И князь для всех был добрым и справедливым братом. Власть его держалась не на страхе, а на справедливости.

Можно не сомневаться, что личность князя, как и других героев былин, приукрашивалась. В былине воплощалась мечта о праведном общественном устройстве жизни, и потому-то реальность обростала домыслами и легендами.

Стоит изумляться живучести народной традиции. Ведь, казалось бы, какое дело забитому нуждой неграмотному олонецкому мужику — пахарю или рыболову, дровосеку или странствующему по деревням сапожнику — до каких-то там происходивших в древности смут, княжеских раздоров, войн с бесчисленными врагами далекой русской земли? Труд тяжелый, на выживание, не должен был располагать к песням и сказочным преданиям, к беспокойству за судьбу героев-богатырей, а вот пел о них сказитель и передавал своим сыновьям и внукам любовь к

народным заступникам, хотя и в глаза-то не видывал ни «широких дубовых столов», ни самих богатырей, сидевших за «честным пированием». Но удивительно, что любая деталь в его былинном пении сохранялась до мельчайших подробностей.

И не случайно же, когда Ивана Трофимовича Рябинина спрашивали после его выступлений, верит ли он сам в то, о чем поет, и было ли, по его мнению, все это на самом деле, он, не довольный такими вопросами, отвечал: «Знамо, было. Не было бы этого, не пел бы я». Припоминается высказывание глубокого знатока древнего эпоса Ф. И. Буслаева о том, что отсутствие цивилизованных начал в течение столетий питало в народе зародыши гуманных идей и благородных стремлений. Этот процесс и подготовил ту благодатную почву, на которой при благоприятных обстоятельствах возникает истинная цивилизация.

Былинный эпос Заонежья в кладовой людской памяти прочно покоился до середины XIX века. Осенью 1859 года в глухую Олонецкую губернию был сослан воспитанник Московского университета народник Павел Николаевич Рыбников. Его определили на работу в канцелярию гражданского губернатора. Надо полагать, что он исправно исполнял возложенные на него обязанности. В архивных материалах сыскался отзыв губернатора о том, что П. Н. Рыбников «оказался весьма полезным чиновником, поведение его безукоризненно и образ мыслей правилен». Видимо, используя служебное положение, он мог совершать поездки по отдаленным уездам губернии. Известно, к примеру, что он побывал на Шуньгской ярмарке, где «былины слушали старого слепца кожеделы Пудожа, пряжи Олонца». Побывал он и на мраморных разработках в Тивдии, интересовался охотой в Пудожском крае. А ведь, учитывая бездорожье, до всех этих мест добраться было не так-то легко и времени на такие вояжи ушло, надо полагать, немало.

В Петрозаводске Павел Николаевич провел более шести лет. Нет сомнения, что, изучая обычаи народа, приобщаясь к его духовности, он в поездках и натолкнулся на живого исполнителя былин и своим чутьем исследователя понял, какой пласт устного народного творчества лежит еще нетронутым в этом крае. Любопытно, что заинтересовал его только былинный эпос. Он равнодушно прошел мимо причети, тогда как Ирина Федосова была известна, и не исключено, что Рыбников слушал ее. Мне лично представляется, что он сознательно решил не отвлекаться от былевой поэзии и не стал поднимать другой большой ноши, оставив ее для будущих собирателей. И вскоре заботы эти примет на себя молодой учитель петрозаводской семинарии Елпидифор Васильевич Барсов.

В 1860 году с наступлением лета Рыбников получает подорожную в Пудожский край — как раз на противоположной стороне Онежского озера. Добраться можно лишь лодкой. Подвернулся попутчик. Им оказался крестьянин из Пудожского уезда, приплывший в город по хозяйственным надобностям. У Ивановских островов, которые в ясную погоду просматриваются от городского берега и за которыми уже начинается широкое Онего, их настиг сумрак. А тут еще усилился ветер, и, как замечает сам Рыбников, «только к утру, часов через шесть после утомительной работы, измученные гребцы пристали к Шуйнаволоку, пустынному, болотистому и лесистому острову в двенадцати верстах от Петрозаводска».

Устали и гребцы, и путешественник, а по нашим сегодняшним понятиям — командированный человек. И потому первым делом они подумали об отдыхе и ночлеге. Павел Николаевич улегся на мешке, положил под голову дорожную сумку. Мужики разожгли костер. Вскоре закипел чайник. Дорожная снедь, самая непрехотливая и повседневная пища, показалась необычайно вкусной. Тепло костра, запоздалый ужин разморили его, и он уснул. Но

сон был неглубоким. От берега доносился плеск волн. Потрескивали сухие поленья в костре. И вдруг сквозь обволакивающую пелену сна он услышал странный мотив, который заставил его сбросить дрему. До того на юге России и в средней полосе ему немало приходилось слышать народных песен и духовных стихов. Но это необычное пение поразило его. Оно не было похоже на песню, на духовные стихи или молитвы. Было в нем что-то торжественно-размеренное, под стать строгой ритмике набегающих волн. Звуки то угасали, то вновь набирали высоту.

Вначале Павел Николаевич подумал, что ему пригрелось. Когда же он окончательно раскрыл глаза и рассмотрел своих спутников по другую сторону костра, то увидел, что поет один из них — старик с окладистой бородой. Потом выяснилось: кижского крестьянина Леонтия Богданова сумерки и ветер тоже заставили пристать к острову и задержаться до утра. Сидели у огня полукругом. В свете костра поблескивавший сединой баян казался Рыбникову привидением. Но это был настоящий живой сказитель, о существовании которых ему в Петрозаводске лишь доводилось слышать.

Между тем сказитель, опустившись на корточки возле костра и поправляя палкой горевшие поленья, в своем священнодейственном пении обращался то к одному, то к другому из мужиков, будто те были не слушателями, а участниками давних событий. Но вот кончилась песня. Наступила короткая пауза, заполняемая ритмичным шумом волн, и мелодия словно продолжала звучать. Вскоре сказитель запел новую свою странную песню с той же размеренной интонацией и величавой торжественностью, которую дополняла необычность самой обстановки. Павел Николаевич наконец понял, что это исполняются былины. Вторая была о славном и богатом купце Садко. Рыбников удивился: здесь, в глухих лесах, на острове, затерянном среди десятков таких же безлюдных и безымянных остро-

вов, звучат былины новгородского происхождения. Но удивление было недолгим. Научное и собирательское чутье подсказывало ему, что именно на Севере сохранились русские былины, а на самой Руси об их живом бытовании остались легенды да воспоминания. Он отлично знал сборник былин и народных песен (имелся в домашней библиотеке родителей), составленный скоморохом-импровизатором Киршой Даниловым. Первый сборник русских былин. И в нем тоже есть былина о Садко, откуда припомнились строки:

А-й гой еси, славный Ильмень-озеро!
Сестра тебе Волга челобитье посылает...

Несколько позже, вероятно, в своей последующей поездке, Павел Николаевич встретит эту же самую былинку и полностью ее запишет. А здесь, как ни уговаривал Леонтия Богданова, тот повторить отказался. И на то, как мы сейчас увидим, были свои причины. А пока попробуем установить некоторые особенности новгородских былин. В чем было их отличие от киевских или южнорусских? Новгородские былинные персонажи были менее героическими личностями. На поле брани подвигов они не совершали; в защиту обездоленных не выступали. Главное действующее лицо — князь — не был для исполнителя-певца окружен ореолом особого поклонения и почитания. Может быть, только в некоторых частных эпизодах можно рассмотреть в нем черты героики киевских былин. А взаимосвязь между ними прослеживается даже при поверхностном чтении.

История с Великим Новгородом обошлась довольно милостиво. Разорение и опустошение, которые несли полчища Батыя, сюда не докатились. Поэтому в новгородских былинах и преданиях доблесть персонажей, в том числе и главных, выступает не столь ярко. Но их художественная и историческая ценность от этого не тускнеет. И при-

мером тому, как убедился Павел Николаевич, может служить та же былина «Садко». Позже он запишет ее в исполнении самого Трофима Григорьевича. Но та, рябининская былина, пройдя сквозь уста нескольких поколений сказителей, в законченном, отшлифованном вековым опытом народном слове звучала уже несколько по-иному: чуть размереннее, ближе к героическому ладу.

Слушая сказителя на острове в свете ночного костра, Павел Николаевич, конечно же, не представлял, что за человек перед ним и какова степень его одаренности. Тем более, увидев настойчивое желание Рыбникова записать услышанное, былинщик замкнулся и ушел в себя. Под разными предложениями он уклонялся от просьбы, думая, как бы чего худого от этой встречи не вышло. Но Павел Николаевич умел найти душевный контакт с любимым, даже малоразговорчивым человеком, внушить ему уважение, рассеять все сомнения на свой счет. Так оно получилось и на сей раз. Старик согласился все же пропеть былинку, да так, чтобы Павел Николаевич успел записать каждую строку.

Факт этот сам по себе интересен по двум причинам. Во-первых, Рыбников впервые услышал подлинное былинное слово и сделал первые записи. Во-вторых, Леонтий Богданов оказался жителем деревни Середка из Кижской волости, что свидетельствовало об очевидной истине: в Занонежье былина не является достоянием лишь отдельных, избранных богом певцов, а живет в народе, как обычная разговорная речь. В ту пору в каждой деревне можно было встретить сказителя, умевшего петь былины, или сказительницу, владевшую искусством народной причети. Правда, дело тут в степени таланта, одаренности, памяти — всех не причешешь под одну гребенку. Но как бы там ни было, былина и причеть дошли, в сущности, до наших дней не только посредством печатного слова, но и традиционным способом, когда передавались из уст в уста. Под-

тверждаю это лично. Наша не очень большая деревня в тридцать дворов имела еще и после войны своего сказителя и плакальщицу. Колхозный пасечник Андрей Иванович Чугин не раз для приезжих людей или во время престольных праздников исполнял былины. Было мне 12—13 лет, и я, естественно, не думал, что знакомлюсь с глубокой традицией и что это пение следовало бы записать. Вопленицей была наша соседка Анастасия Егоровна Качалова. Когда моя мать Елена Васильевна в январе 1945 года умерла в возрасте 42 лет, Анастасия Егоровна целую ночь причитала над ее гробом. Причеть ее была, конечно, сугубо традиционной, но строилась она и применительно к судьбе осиротевших детей, к опустевшему дому, в который вошла беда: «Ты прощайся-ко, любима наша матушка, со своими ненаглядными детушками, с добрым хоромным строеньцем, со своей любимой чистой горенкой...» Сказать откровенно, я мало вдумывался в смысл ее длинного, почти на всю ночь плача. Каково было все это вынести?.. В данном случае я говорю не о самом факте смерти матери, а о том, что вести причитание по усопшим умели многие женщины.

Но вернемся к Ивановским островам, где до самого утра горел костер и свет его позволял Павлу Николаевичу делать беглые записи. Заонежане, среди которых был и Леонтий Богданов, увидев костер, тут же лепились к нему, чтобы скоротать время. Утром они должны были разъехаться. Пудожане с Павлом Николаевичем — на Пудожский берег, и путь им предстоял неблизкий; а заонежане — в свою деревню Середка, что была в двух или трех часах езды от острова. Сам Богданов и его земляки стали уговаривать Рыбникова поехать с ними в Кижы. Поманили, вероятно, и тем, что обещали познакомить с Трофимом Рябининым, «больше которого никто в Заонежье былин не знает». Рыбников согласился. Этот момент определил его собирательскую деятельность. Вот что он вскоре

написал ученому фольклористу и языковеду И. И. Срезневскому:

«Мне было позволено только один раз проехать Олонецкую губернию. (Рыбников, видимо, имеет в виду самую продолжительную по времени и расстоянию поездку, единственную в своем роде. Правда, известно, что в Кижях он, к примеру, был не один раз, как, очевидно, и в некоторых других деревнях и погостах края.— И. К.) Точно предчувствуя, что это первая и последняя поездка по своей воле, я плыл через Онего на лодчонках, верхом и пешком, пробирался через леса, пенусы, райды и красные янги¹, точно кто-нибудь гнался за мною, и действительно, в Каргополе я получил предписание вернуться. В два месяца в захолустьях в «задвенных» уголках я успел отыскать или положить начало отыскиванию всего того, что издано в течение двух лет и что сообщаю в разные научные общества. В 61-м году я ездил всего месяц, сопровождая губернатора... Много ль можно узнать при такой обстановке...»

Если к тому же учесть, что Павел Николаевич находился под полицейским надзором, то легко себе представить, что в своих поисках и исследованиях он был весьма ограничен. Хотя по нашим сегодняшним понятиям, если политическим ссыльным разрешали свободно передвигаться в каких-то пределах местожительства и бродить с ружьем на охоте, они вполне могли заниматься творчеством. И конечно, относительной свободой передвижения и общения с людьми Рыбников пользовался. Иначе просто не записал бы столько былин — целых три тома! Более того, иногда Павлу Николаевичу удавалось избавляться от догляда и выбирать для поездок глухие проселочные дороги, где встречи с крестьянами проходили проще, вне рамок казенных поручений. В «Заметке со-

¹ Местные обозначения труднопроходимых лесных и заболоченных мест.

бирателя», открывающей в качестве предисловия третий том «Песен, собранных П. Н. Рыбниковым», он подтверждает: «Я рассудил оставить почтовый тракт и ехать по губернии проселочными дорогами. Это давало мне средство всмотреться в быт крестьян и отчасти избавляло от официальности...»

«Проселочные дороги» привели Павла Николаевича и к архипелагу Ивановских островов. И когда заонежане уговорили его ехать с ними в деревню Середка, с того утра и началось открытие былинного эпоса Заонежья. По пути Леонтий Богданов спросил:

— За что же тебя, сердобольного, в Петрозаводское-то сослали? Аль с начальством в Питере не поладил?

Павел Николаевич не стал объяснять, что был активным участником подпольного кружка в Москве, вел пропагандистскую деятельность. И в ответ молча кивнул головой.

— Ишь ты, с властями наверху не поладил, а с нашим губернатором, выходит, ладишь, если по его заданиям едешь, а то и с ним вместе,— удивился мужик, сидевший за кормчего. Губернатор ему казался таким большим начальником, что выше его был лишь царь да еще приближенные министры.

— Губернатор и сам здесь вроде бы как в ссылке. Только и мечтает о том дне, когда его в Петербург отзовут. Там и квартиру держит, и дочь его там с прислугой проживает.— Так упрощенно обрисовал служебное положение губернатора Павел Николаевич.

Просьбу Рыбникова спеть какую-нибудь былинку Богданов отверг своеобразно.

— Скажи-ка, Гаврила,— обратился он к гребцу,— неужто против Трофима кто устоит?

— Ну разве что ты, Леонтий,— желая угодить соседу, ответил тот. Богданов горько усмехнулся:

— Вот приедем, сам услышишь.

Павел Николаевич больше не настаивал, и вскоре они прибыли в деревню.

Рыбников поверил безоговорочно, что его познакомят со всеми, кто умеет петь былины, и доставят на Пудожский берег. Слово свое мужики сдержат. Во всех их словах и поступках чувствовалась житейская основательность. Да и как иначе? Тут человек перед миром живет на виду. Дорожит уважением. А потеря уважения хуже пожара или иного бедствия. Леонтий вызвался прежде сам поговорить с Трофимом:

— Мужик он гордый и упрямый. Подход к нему у меня имеется. Я все улажу. А тем временем моя хозяйка тебя с дороги накормит-напоит.

Леонтий вернулся домой пополудни. Не спеша снял с себя в передней части избы верхнее одеяние, вынес на крыльцо сырые сапоги. Остался в синей сатиновой рубаше и надел новые, чуть поскрипывавшие лапти. Они ладно сочетались с сосновым полом, натертым до желтого блеска. Он не торопился выкладывать новости, все делал спокойно и размеренно. Сел на лавку рядом с гостем и так же спокойно сообщил:

— Вечеру он подойдет. Я с ним долго беседовал. А сейчас пообедаем. Ухи свежей поедим, да горшок с кашей в печи преет. Потом, коли будет на то воля и охота, поспишь часок-другой в горенке, а я займусь банькой. С дороги да после леса оно будет очень полезно. А ты вроде покашливаешь. Паром и свежим березовым веником всю простуду разом выгоним.

К вечеру изба Богдановых была полна народу. Не так-то часто появляется здесь кто-то из города. К тому же песнями да былинами интересуется, а не податью да недоимками, от чего крестьянам житья не стало. И пока не явился Трофим Григорьевич, завязалась сама по себе интересная беседа. Люди передавали предания не только о Петре Первом в таких подробностях, словно он прошлым летом проезжал через Кижы, но и о польских панах, до-

шедших в свое время до Заонежья. Не случайно и фамилии польские тут сохранились: Ржановские, Лукинские, Свинтицкие, Негребецкие...

Но вот порог избы переступил почтенного вида пожилой человек. Невысокого роста. Во всем его облике чувствовалось внутреннее достоинство и физическая крепость. Умные глаза были слегка прикрыты усталыми веками. Он степенно здоровался с присутствовавшими, но по его лицу нельзя было понять, рад ли он тому, что, в сущности, ради него собрались односельчане. Скорее, смущен. Все случилось так неожиданно.

— Вот и Трофим Григорьевич пришел,— обратился к Рыбникову хозяин. Гость и сказитель познакомились, присматриваясь друг к другу.

Павел Николаевич рассказал о ночлеге на острове, о том, как он услышал пение былин от Леонтия и как тот соблазнил его приехать.

— Думаю, Трофим Григорьевич, вы не откажете мне в удовольствии послушать и ваше пение. А я тем временем что-нибудь запишу, чтобы ваши былины узнали все в стране.

До приезда Рыбникова никто в Заонежье былин не записывал. И неудивительно, что поначалу такое «новшество» настораживало. Не думал и Рябинин, что в городе кого-то могут интересовать его былины. Но Рыбникову удалось расположить старика, убедить его, что тут не прихоть, а действительно дело нужное. Он кратко и доступно объяснил, что былины, народные песни, сказки и предания когда-то давно родились в российских землях очень далеко от Заонежья. И предки сегодняшних заонежан принесли их сюда. В самой России о них уже и не помнят, а здесь вот они живут. Разве это не чудо? И надо, чтобы о них узнали и чтобы люди как бы заново вспомнили их. И вот он, не считаясь с дорожными неудобствами, забывая о служебных обязанностях, к неудовольствию начальства, решил записать былины как можно полнее, не про-

пуская ни слова. Он, казалось, сумел уговорить сказителя и его земляков. Но неожиданно встретил со стороны Трофима Григорьевича такое препятствие:

— Негоже нонь сказывать мирские песни. Постуем мы — ни скоромного не едим, ни песен не поем. Вот только Богу угодные разве...

Рыбников смутился: что же ему Леонтий ничего не сказал? Ведь сам-то он пел. Что же выходит — на острове среди леса и воды петь можно, а в избе уже грех? И он прибегнул к нехитрым, но убедительным доводам:

— Пойми же, Трофим Григорьевич, что если не грех сказывать духовные стихи, то и былины петь не возбраняется. Они сложены про героических святых людей, защитников отечества и народа, во имя господа Бога. Разве же он станет осуждать это?

Доводы на сказителя подействовали, да и ему захотелось, видно, развернуть перед гостем свое умение. И стал он сказывать ему былину о Хотене Блудовиче, как сватала его матушка во время «честного пируваньца» у ласкова князя Владимира за купецкую дочку Офимьюшку и чем то сватовство закончилось.

Павел Николаевич просил Рябинина поначалу былину не петь, а рассказать ее пословесно, неторопливо, чтобы он смог записать и ничего не перепутать. Трофим Григорьевич удивился:

— Как же так?! Это только сказки принято рассказывать да передышки делать, чтобы с духом собраться. А былина у нас завсегда пелась.— Но и тут оказалось, что Трофима Григорьевича уговорить нетрудно. Умный человек, он сумел понять, что запись должна быть точной. Его же слова потом кто-то будет повторять. И он стал рассказывать былину с распевом, выделяя в ней каждую строку и слово. Былина была небольшая, и времени на ее запись ушло не много. Когда же она была полностью записана, Рыбников опять вмешался:

— Теперь, Трофим Григорьевич, и спеть ее не грех,

а я заодно посмотрю, все ли у меня правильно получилось.

Сказитель запел. В этот момент лицо его преобразилось, сам он словно отдалился от всех и растворился душой в событиях, о которых пел. Голос его звучал негромко, даже несколько глуховато, скрадываемый теснотой избы, но отличался своеобразием, а дикция была изумительной. Каждое слово в былине выступало выпукло, переливалось, ощущалось родным и понятным.

Павел Николаевич пробыл в Середке не меньше трех дней и записал двадцать три былины, что составило примерно пять тысяч строк! Трофим Григорьевич ежевечерне приходил в дом Богданова, между ними начинались долгие беседы. В промежутках Рябинин пел, а Рыбников едва успевал записывать.

— Четверо сыновей у меня было,— говорил Трофим Григорьевич.— Двоих взяли на государеву службу, да там они и померли. Не потрафила им проклятая солдатчина. Гаврила да Иван остались. Ивану шестнадцать годков о Покрове сравняется, Гаврила постарше, поматёрше... Знают они у меня былины, но толк будет, как я вижу, с Ивана. Заменит он в этом деле отца, а не только в хозяйстве. На него главная надежда. Гаврила тот попить стал. А вино душу сушит, воли ей не дает. Без воли-то какие песни?..

Как-то уже под вечер Леонтий предложил Павлу Николаевичу свезти его к Кузьме Романову в Лонгасы, что на Клименицком острове.

— Еще не поболе ли Трофима знает былин да песен. Ты уж шибко перед Рябининым не хвастай потом, что ездили, а то рассердится. Каждый считает, что лучше да памятьливее другого.

В дороге (езды было чуть больше часа) поведал о себе:

— Мне уж за сёмый десяток перевалило. И все такой же удалой да ухватистый до любой работы. Устали не

знаю, а подчас и бабу какую ущипнуть хочется. Живу не всегда в достатке, да, однако, не унываю. Десять ртов в доме, это с сыновней семьей. То густо у нас, то пусто. Муку я в городе продал. Два куля было, да масла фунта четыре, да рыбы свежей... Денег немного выручил, потом с хорошим человеком встретился. В кабак сходили, посидели. Половину выручки там оставил. Да я ничего, не жалею. Будем живы — деньги будут и все наладится.

Кузьма Романов был постарше Трофима Григорьевича. Бодрый и словоохотливый старик, в отличие от Рябинина, сидеть на одном месте не любил, брался то за одно, то за другое и, не отрываясь от хлопот, рассказывал о себе, о своих соседях. Постоянно улыбался, чтобы гостю приятнее было его слушать, и после каждого бытового сюжета неизменно приговаривал: «Вот так и живем».

Жил Кузьма Романов со старой работницей, видимо родственницей, в ветхой избушке на «курьих ножках». В разговоре с гостем стремился к уступчивости, хотел угодить приезжему человеку. И когда речь зашла о былинах, сразу же согласился их петь, даже о посте не вспомнил. Метод записи был тот же, что и с Рябининым. (Так начинал сам по себе складываться метод изучения и записи былинного эпоса. Во многом его повторяют и последующие собиратели.) Первой от Романова Павел Николаевич записал былинку «Хотен Блудович». Запись этой былины была уже сделана и от Богданова, и от Рябинина. Рыбникову на досуге предстояло все их сопоставить, выявить, велико ли расхождение в текстах и можно ли будет на подобных примерах говорить о единой кижской былинной школе.

В тот приезд он записал от Романова не более трех-четырёх былин и решил твердо, что при первой возмож-

ности еще раз побывает на этих островах и обязательно встретится теперь уже со знакомыми сказителями. Он велел Кузьме Романову непременно найти его в городе, если тот приедет по делам. И действительно, такое свидание в Петрозаводске состоялось. Наверно, и не одно. В результате было записано еще не меньше пятнадцати былин.

Перед возвращением в Середку разговор зашел о Рябинине. Павел Николаевич почувствовал в словах Романова некоторую ревность.

— В досюльнее-то время он знал самую малость былинок. И часто заходил ко мне послушать. Былинки у меня перенимал. А теперь люди толкуют, будто Трофим стал первым сказывателем. Я старше его. Может, что и призабыл, память слабеть стала. А ведь, бывало, знал куды сколько. Далеко было Трофиму до меня...

Слушая и записывая былины, Павел Николаевич не переставал удивляться живучести их. Невольно он приходил к выводу, что здесь, в Олонецкой губернии, где жива память о древнем Новгороде, где люди не испытали гнета крепостничества, былинный эпос как раз и соответствует нравственным убеждениям крестьян. Впоследствии, когда он подготовит к выпуску свой колоссальный труд — сборник песен и былин в четырех томах, который выйдет в 1881—1887 годах, и будет писать «Заметки собирателя», для него решающим образом обозначится историческая связь Олонецкой губернии с очагами древнерусской культуры. Две главные причины, как определил он, способствовали сохранению здесь былинного наследия — с в о б о д а и г л у ш ь. Думал он и о том, что сказители, не видевшие природы Приднепровья или юга России, вовсе не всегда имеют представление о тех картинах, которые возникают в былинах. Но они так вдохновенно поют о неведомых им нравах, быте княжеских, боярских или купецких теремов, застольях с участием воинов и богатырей, словно своими глазами. А значит, как пели деды, так долж-

ны петь и они. Устойчивость традиций былевой поэзии, по мнению собирателя, сохранялась и благодаря этому.

Вернулись в Середку. На куполах Преображенской и Покровской церквей, слитых как бы воедино, догорали последние краски зари. Рыбников был зачарован тишиной озера и островами, которые, словно фрегаты, устремились на широкий простор. Он не стал скрывать от Трофима Григорьевича, что побывал у Кузьмы Романова в Лонгасах.

— А зря и ездили. Старик уже ничего не помнит.

— Да нет, Трофим Григорьевич, он мне пропел четыре былины, и я их записал. Еще обещал при случае. Память пока ему не отказывает.

— У меня он учился былинки эти петь. Хоть постарше будет. Вот спроси у Леонтия, он тебе то же скажет.

Павел Николаевич не пытался вникать в суть разногласий. Ни к чему. Сказители, ревнуя друг к другу, хотели быть на высоте, чем более что приезжий человек понимал толк в их искусстве.

Рыбников почти не расставался с Трофимом Григорьевичем. Записал от него среди прочих былин, по мнению собирателя, самые замечательные: «Илья Муромец и Соловей-разбойник» и «Вольга и Микула». Их любил чаще петь и сам сказитель. Когда Павел Николаевич записывал текст и сверял заново, то думал неизменно о том, что былины эти несут в себе ярко выраженный общерусский характер и что родились они в целом народе и для всего народа. Он потому и заинтересовался северным былинным эпосом, что почувствовал в нем связь с русским эпосом, с общерусской традицией. И несколько позже в письме товарищу, словеснику и ученому Оресту Миллеру, он напишет: «На окраинах новгородского севера, где до сих пор человек упорно борется с природой, где до сих пор из каждого почти семейства выходят вон из

дому бурлаки отведают если не силы, то удали молодецкой, былинный эпос пережил вторую молодость...»

Примечательное признание сделал он и в письме к П. А. Бессонову, редактировавшему первые два тома его былин. Письмо было послано как раз вскоре после возвращения из первой поездки в Заонежье: «Я всегда был убежден, что русский народ отозвался в своих произведениях на все, что ему было дорого, на всякое замечательное событие в области своего развития. И чем больше узнаю народное творчество, тем убеждение это все более и более подтверждается».

Задумываясь над духовным наследием заонежан, над монументальным творчеством сказителей, невольно приходишь к мысли о том, что «старины» (как иногда стали называть былины некоторые последующие исследователи) выражали и современные интересы народа. В них нашли отражение представления людей об истории, государстве, в них звучала тоска по справедливой власти. И не случайно тот же Трофим Григорьевич, выделявшийся умом и памятью среди земляков, спрашивал Рыбникова:

— Скажи-ко мне, Павел Николаевич, отчего о прежних князьях поют на былинах и слава им век не минует? Видь какой еще мальга мой Ванька, а выедет за околицу, запоет про ратая — по деревне стон стоит. А о нынешних царях разве поют на песнях?..

Былины «Илья Муромец» и «Вольга и Микула» широко известны, и нет смысла напоминать их содержание. Хочется лишь привести высказывание Горького, причислявшего образ Микулы Селяниновича к величайшим созданиям мировой поэзии, ставившего былины в один ряд с древнегреческими легендами, воспевавшими Геракла и Прометея: «В пахаре Микуле Селяниновиче мы видим обобщенный образ всего нашего крестьянства».

Сегодня, когда подворья средней полосы России и Северо-Запада пришли в упадок, когда заросли пахотные

поля, а сошка Микулы Селяниновича, «брошенная за ракетин куст», ждет, когда придет за ней новый хозяин, видишь, что былина еще не исчерпала своего глубокого национального смысла, что вера в русских богатырей с высокими нравственными устоями, способных на борьбу за справедливость, нужна нам не меньше, чем в прежние времена.

Явится новый Микула Селянинович и в нашей литературе. Подобно тому, как пахарь Микула при вспашке «коренья, камня вывертывал», будущие богатыри слова поднимут еще невиданные залежи правдивых тем и свежих красок...

ПРОДОЛЖЕНИЕ ВТОРОЙ БЕСЕДЫ МАРИИ ФЕДОРОВНЫ

Итак, Иван Трофимович, мой прадед, приехал в Гарницы из деревни Середка и был принят в дом к молодой вдове Анастасии Андреевой, матери будущего сказителя Ивана Герасимовича, которому в ту пору сравнялось лет десять-одиннадцать. С четырехлетнего возраста он остался сиротой: его отец утонул в Онеге на рыбной ловле. К приходу в дом отчима мальчик уже знал, что такое крестьянский труд. Иван Трофимович полюбил приемного тезку, привязался к нему. Этим объясняется и тот факт, что пасынок так быстро и легко усвоил и воспринял его сказительский дар. На рыбной ловле или по вязании сетей, на пожне или в лесу Иван Трофимович находил часок, чтобы пропеть былинку, и всячески старался заинтересовать Ивана; приучал его, видя его радение.

У Ивана Трофимовича появилась двойная фамилия — Рябинин-Андреев. А потом ее стал носить и Иван Герасимович. Да вот одно нескладно: Иван Трофимович был старовером, а андреевская семья по церковным канонам считалась святой. Родственники и соседи осуждали Анастасию за то, что она решилась променять свою веру на

старообрядческую и как бы отказалась от традиций. Но это не совсем так. В доме, благодаря взаимной любви и согласию, стали мирно уживаться две веры. Так, рядом с семью православными иконами появилась восьмая — старообрядческая, которую принес Иван Трофимович. Иконы «представляли» семь поколений андреевского рода — от Афанасия до Герасима. В конце концов мать Ивана Герасимовича примет мужнину веру, но о том я расскажу чуть позже.

Иван Трофимович не требовал этого от жены. Он вообще никому не навязывал своих убеждений и образа жизни. Поступал по совести, как душа подсказывала. Был добр и справедлив, и люди его уважали. Пил и ел из своей посуды. Церковные обряды не любил. Священнослужителей тоже не жаловал. Если увидит в окно, что в дом направляется священник или псаломщик, — разные ведь дела случались просто на бытовом уровне, — поднимется к себе на чердак, в молельню, и не выйдет оттуда, пока гость не уйдет. Он запретил гулянья в честь Афанасия, и жена не стала перечить. Но крест в честь Афанасия трогать не велел. За домом, вот на этой фотографии, хотя и мелким планом, просматривается раскидистая старая сосна. Снимок любительский, еще довоенный. Так вот, Иван Трофимович считал ту сосну священной и по утрам перед ней молился, поклоняясь языческому богу леса — Корбе. Отсюда и название одной из наших деревень возле Кижей — Корба. А Корбов день праздновали в первое воскресенье июля по старому стилю, как день угнетения церковью, насилия над языческим богом. Помню, когда я была маленькой, мы с бабушкой ходили к этой сосне, клали возле нее калитки в память об Иване Трофимовиче. В тот день мы его поминали.

В андреевском доме у Ивана Трофимовича родились еще два сына. А когда Иван Герасимович вырос и надумал жениться, ему сыграли свадьбу и отделили. Невеста, будущая жена Марфа Петровна, была из соседней, тоже

островной деревни Леликово. Она выросла в зажиточной семье Чивиных. Воспитана была с младенчества в религиозных канонах. Поэтому ее родители и настояли, чтобы жили молодые отдельно, не по староверческим обычаям.

К тому времени, а точнее где-то в 1902—1903 году, Иван Трофимович несколько переделал и полностью отремонтировал андреевский дом. Построил мельницу. Деньги на все это он заработал в «гастрольных» выступлениях. При отделении Ивана Герасимовича пришлось между братьями поделить и землю на три равных лоскута. Но акт о разделе земли в волости не подписали. По тогдашним законам вся земля принадлежала Ивану Герасимовичу. А его сводные некрещеные братья даже не значились в списках на владение участком. Так мне рассказывала матушка Ольга Ивановна. Ивану Трофимовичу, вопреки своим религиозным убеждениям, пришлось окрестить уже взрослых детей. Надел дробился. Земли в хозяйстве становилось все меньше. У Ивана Герасимовича пошли дети. Семейство разрасталось. Скорей всего по этой причине он поехал в Питер на заработки.

Ни один из родных сыновей Ивана Трофимовича, включая и старшего от первого брака, что остался в Середке, к былинам не пристрастился. Постепенно и младшие сыновья отделились от родителей. Иван Трофимович с женой стали жить вдвоем. Вот тогда-то она окончательно перешла в его старую веру, чтобы пользоваться общей посудой, соблюдать одинаковые посты и обычаи. Родня и соседи не могли ей простить того, что она совсем отказалась от святой андреевской традиции, сделалась староверкой. В переживаниях ей все чаще снился первый муж Герасим, который тоже не скупился на упреки. Иногда она начинала молиться и тем и другим иконам, что только сильнее раздваивало ее сознание. Иван Трофимович не-

редко заставлял жену в слезах, но раскрыть душу до самого дна, как говорится, она не могла и ему. Он многое понимал, старался проявлять такт. И в свою очередь поступался канонами веры: икону от Герасима оставил рядом со старообрядческой, дониконианского письма.

Двойственное отношение к религии, занимавшей в жизни крестьянина очень большое место (если к тому же учесть традиции андреевского рода), недомогание, разлад между сыновьями — все это послужило причиной тихого помешательства Анастасии. Но ей суждено было пережить Ивана Трофимовича на пять лет. И когда в 1909 году его не стало, больную мать взял к себе Иван Герасимович. А перед кончиной отец призвал сыновей и завещал им разделить поровну оставшиеся золотые деньги — девять рублей. Восемь он истратил на перестройку дома и мельницу, которая должна была стать их общей собственностью. Так вот, те девять рублей вместе с золотой медалью и другими ценными подарками, как бы на всякий крайний случай, он спрятал под полом мельницы, о чем знала только жена. Но в момент самого завещания Иван отсутствовал. Братья Василий и Павел, воспользовавшись его неведением, клад впоследствии тихонько выкопали и разделили между собой.

Помню, в двадцатые годы, когда в живых их уже не было, наша бабушка не раз выговаривала одной из невесток, что вот, мол, и землю андреевскую забрали, и денег Ивану Герасимовичу не дали. Невестка отмалчивалась.

Чердак-молельня все же по наследству достался Ивану Герасимовичу. Лишние иконы были сняты. Летом это уже была жилая комната и молельню, конечно, не напоминала. Однако иконы, другие атрибуты той и другой веры хранились вплоть до середины тридцатых годов.

Сберегались и различные реликвии, которые привозили с собой после выступлений Трофим Григорьевич и Иван Трофимович. Я запомнила фарфоровую чашку Трофима.

подаренную ему, по преданию, царской семьей; небольшое в золоченой раме зеркало, полученное им же в Мраморном дворце; Почетную грамоту, которой был награжден Трофим Григорьевич Обществом любителей естествознания, антропологии и этнографии в 1894 году. Разные медали и награды, врученные сказителям. На столе лежал паспорт — с ним Иван Трофимович ездил за границу. В углу стоял его бюст работы неизвестного скульптора. Были тут также реликвии моего деда Ивана Герасимовича: чашка, купленная в Петрограде с первой полочки, иные вещицы, а еще предмет печальной памяти — нагайка, вырванная им из рук казака во время июльских событий 1917 года. След от этой нагайки он долго носил на спине. История повторилась. Вспомним, что за попытку проявить свое отношение к притеснителям был жестоко наказан в Кижях его дед Трофим Рябинин. А через сто лет от царских сатрапов пострадал внук.

Жаль, что оголтелая борьба с религией, неумеренная коллективизация, разразившаяся война перевернули быт и уклад андреевского дома, создававшийся многими десятилетиями. Все предметы и реликвии были или уничтожены, или утрачены.

Как жил Иван Трофимович среди чужих людей во время своих поездок? Воспоминания некоторые есть. Писали немного о том и Рыбников, и Гильфердинг. Даже поэт Николай Клюев в стихотворении заонежского цикла не обошел наших сказителей. Наверно, он встречался с Иваном Трофимовичем, а позднее и с Иваном Герасимовичем.

Эпизоды сказительской деятельности Ивана Трофимовича, конечно, никто не записывал. За праздничным столом или в обыденной беседе, когда собирались гости, Иван Трофимович, а позднее и Иван Герасимович любили вспоминать о своих поездках, о том, что видели, с кем встречались и о чем вели разговоры. Гости ловили каждое слово. А для домашних подобные рассказы становились

семейными преданиями, своеобразной устной летописью рода. Большинство жителей Гарниц дальше соседних деревень не бывали. Питер и Москва, не говоря уж о заморских городах, им казались сказочным, недоступным миром. А тут их земляки и родичи мир этот не только видели, но и своими руками его потрогали. И что самое удивительное — не затерялись в нем, не пропали, а напротив, вернулись домой целехонькими с деньгами, подарками и при медалях. Значит, и в самом деле не пустое занятие — петь былины. Репутация сказителей еще больше выросла.

Иван Трофимович как в Петербурге, так и в Москве выступал во многих училищах и учебных заведениях, в различных собраниях и в частных домах. Разная публика его слушала: и богатые, и бедные, люди образованные и не очень, старики и совсем молодые, верующие и безбожники. И все они, за редким, быть может, исключением, слушали сказителя с неподдельным интересом. А Иван Трофимович оставался всегда самим собой, со всеми держался ровно и уважительно.

Однажды в 1883 году после пения в каком-то московском училище его окружили воспитанники и забросали вопросами. Не то чтобы кто-то хотел обидеть сказителя, а так, ради любопытства и шалости, стали его расспрашивать. Что он любит, чего не любит. И сочиняет ли свои былины и сказки либо с готового перекладывает. Но и тут Иван Трофимович «не заметил» бесцеремонности, отвечал сдержанно и терпеливо, как взрослым людям. Или еще в другом месте спросили, что он любит есть за обедом. Сказитель пояснил, что на стол у него дома завсегда ставят кислую капусту и квас.

— А я вот не люблю кислую капусту и кваса не люблю! Мне сироп нравится,— выкрикнул один из юношей и брезгливо сморщил нос.

Иван Трофимович миролюбиво согласился:

— Не любишь, и ладно. Каждому свое.

Вкусы сказителя публика узнала. На выступлениях частенько припасали для него квас, и Иван Трофимович охотно наливал себе, доставая собственный стаканчик, с которым в поездках не разлучался. Но всяких там разносолов избегал. Был такой случай. Одна знатная особа, собиравшая народные песни только потому, что ее бабушка была когда-то крепостной, и тем самым как бы подчеркивая близость к простому народу, пригласила Ивана Трофимовича в гости. Желая угодить ему, распорядилась приготовить великолепный ужин. Она была уверена, что за обильным и богатым столом Иван Трофимович разговорится по душам и еще щедрее раскроет свою песенную натуру. Знать бы ей, что все произойдет как раз наоборот. Если бы она предложила скромную закуску прямо на кухне да заварила бы какую травку взамен крепкого кофе, может, сказитель и попел бы специально для нее. При виде же богатого стола в пышной гостиной он замкнулся. От ужина отказался, попросил квасу и капустки. Хозяйка, конечно, была разочарована и ничего добиться не смогла. Разговор получился скупой: вопрос — ответ, ответ — вопрос. Сказитель сразу понял, что деревенская жизнь аристократку нисколько не интересует, совсем ей неизвестна, а пригласила она в гости потому, что о нем пишут в газетах и разносят слухи. Вот ей и захотелось посмотреть на живую диковину, потешить самолюбие. Таких «любителей» народного творчества было немало.

ВТОРОЕ ОТКРЫТИЕ

(Авторские раздумья и пояснения)

По совету Павла Николаевича Рыбникова в 1871 году в Заонежье приехал крупный ученый, председатель отделения этнографии императорского Географического общества Александр Федорович Гильфердинг. Ему было 40 лет. Энергия поиска и неутомимость в трудных дорогах

собирателя (а проделал он необычайно сложный путь, на подробностях которого нет возможности здесь остановиться) увенчались блестящим результатом. За два месяца, проведенных в Олонецкой губернии, он прослушал более 70 сказителей, воплениц, сказочников и записал 318 былин, из которых сложилась рукопись — свыше 2000 страниц. Как и его предшественника, Александра Федоровича преимущественно интересовала былевая поэзия, и записывал он только былины. По крайней мере, о записи причитаний и сказок сведений не осталось. Да попросту он и не успел бы все за столь короткий срок.

В Кижях ученый пробыл неделю. И главным образом встречался и беседовал с Рябининым. К тому времени — это уже было по прошествии шести лет, как Рыбников видел сына Трофима Григорьевича подростком, — тот стал статным юношей, переняв степенство и достоинство у отца. Но вместе с ними перенял и нечто более важное. Он сам начал петь былины. Однако таков уж был порядок в семьях былинников и сказочников, что пока поет или рассказывает отец, он как бы за всех отчитывается, а дети, племянники или внуки, у кого проявляются интерес и радение, пусть учатся и перенимают, чтобы впоследствии его заменить.

Самому Трофиму Григорьевичу перевалило уже за семьдесят. Но был он бодр, внимателен, не сбивался с ритма, не потерял голоса. Когда Александр Федорович после прослушивания и записи былины делал сверку текста, то видел, что разночтения не только в строчках, но и в словах были незначительны.

— Скоро вот меня заменит, — кивал Трофим Григорьевич на Ивана. — Этот у меня по былинкам кехтает¹. Пока же сам в ружах² и могу петь, пусть посидит и послушает.

¹ Кехтает — умеет, стремится вникнуть во что-то (местн.).

² В ружах — крепкий, здоровый человек.

Все же, когда Трофим Григорьевич ушел до обеда в соседнюю деревню и в доме остались Иван да гость, он уговорил молодого сказителя, и тот спел ему про «Добрыню и Змея». Но поскольку эта былина была уже записана от Трофима Григорьевича, воспроизводить ее вторично не имело смысла. Александр Федорович, следя за текстом, с удивлением увидел, что младший Рябинин от отцовской традиции не отступает, лишь иногда вставляет свои словечки. К нему тогда же пришло убеждение, что новое поколение собирателей будет уже от Ивана записывать былины.

Александр Федорович, как прежде и Рыбников, слушая сказителей, был в некотором изумлении. Тот же Трофим Григорьевич, никуда дальше Ладоги не ходивший на промысел, поет легко и свободно, с твердой верой в то, будто сам видел и ковыльные степи, и зеленые развесистые дубы, и то, как их с корнем вырывают русские богатыри; сам сиживал в застольях на княжеских или купецких подворьях-теремах, полных всевозможных яств и заморских вин. Нет, конечно, никогда и ничего подобного он не видел. Но почему же тогда былинная поэзия нашла свой приют на века именно здесь, в глухих заонежских лесах, на этих полубезлюдных островах, подолгу окутанных серыми тучами и оторванных по полгода и дольше от основной земли, от большой жизни?! И Александр Федорович находил правильный ответ: условия северного быта и крестьянского труда, борьба с капризными силами природы — все это способствовало, по его выражению, «господству эпического мировоззрения».

В те годы передовые люди России, а к ним, несомненно, относились и Рыбников, и Гильфердинг, и Барсов, отчетливо понимали, что, поскольку заонежский крестьянин не был в крепостном рабстве, он ощущал себя свободным человеком. И потому вольнолюбие героев былин, их стремление к добру и справедливости были сродни его душе.

Наивность духовных посылов, еще не испорченных городской цивилизацией, несущей наряду с культурой и прогрессом дух меркантильности и экономического цинизма, позволяла северорусскому крестьянину верить в истинность чудес, изображаемых в былинах, сказках и причитаниях.

Размышляя о связях северных былин с киевским, новгородским и шире — с общерусским народным творчеством, надобно напомнить, что в XII—XIV веках Карелия входила в состав Новгородской вечевой республики. И вместе с новгородцами карельское и русское население «Сбонежской пятины» активно включилось в борьбу против немецких псов-рыцарей, а спустя годы — и против шведско-польской интервенции. Атмосфера высокого патриотизма, мечты о лучшем устройстве жизни, что пронизывало былины о богатырях, делали их понятными и близкими по духу. Но своими эти былины наши северные рапсоды считали еще и потому, что так их пели предки. И может быть, даже не задумывались, что предки предков принесли их из необъятных просторов Руси, прежде всего от стен Господина Великого Новгорода. Можно сказать и по-другому: свою окончательную прописку былины получили в Заонежье.

Интересно вспоминал Гильфердинг о том, как он оказался в дороге с одним из заонежских сказителей:

«...Он от скуки затянул былинку про сорок калик с каликою. Между ним и мною ехал хозяин лошади, которая шла подо мною, и он никогда не слыхивал былины и постоянно сопровождал ее своими замечаниями. «Ах, она мерзкая баба», — повторял он несколько раз, слушая, как княгиня Опраксия соблазняла каличьего атамана... «Эка, брат, беда пришла!» — воскликнул он, когда у атамана в подсумке оказалась, положенная туда мстительною княгиней, чаша княженецкая и атаману пришлось осудить себя на жестокою казнь...

Словом, мой провожатый слушал эту былину с такою же верой в действительность того, что в ней рассказывается, как если бы дело шло о событии вчерашнего дня, правда, необыкновенном и удивительном, но тем не менее вполне достоверном. То же самое наблюдение мне пришлось делать много раз. Иногда сам певец былины, когда заставишь неть ее с расстановками, необходимыми для записыванья, вставляет между стихами свои комментарии, и комментарии эти свидетельствуют, что он вполне живет мыслью в том мире, который воспевает».

Из множества певцов, кого сумел прослушать и записать Александр Федорович, он выделил прежде всего, как и его предшественник, Трофима Рябинина. Его былины отличались стройностью композиции, многоплановостью событий, незыблемой традиционностью. Шло все это от личности самого певца, от основательности его характера, нравственных начал, заложенных в нем. Трофим Григорьевич и в жизни придерживался строгих правил, осуждал лихое молодечество, выходявшее за рамки установленных нравственных отношений. В этом духе воспитывал сыновей. Он пользовался уважением соседей и как лучший знаток былин, и как человек. Да только ли соседей? В праздничные дни в их деревню к Спасу на игрища (остров Кижь, где поныне стоит 22-главая Спас-Преображенская церковь, в переводе не то с древнекарельского, не то с лопарского и означает Остров Игрищ) приезжало видимо-невидимо народу. Многие специально ехали, чтобы послушать живущих здесь сказителей, среди которых годам к тридцати стал заметно выделяться Трофим Рябинин. Можно представить, каким чистым и выразительным был в ту пору его голос, а память свежей, не обремененной лишними заботами. Как много выиграла бы наша фольклористская наука, наша народная культура, если бы Трофима Рябинина записали в молодые годы! Сколько бы она потеряла, если бы его не записали вообще! Случайно ли его нашел Рыбников? Отчасти случайно. Но если вду-

маться, то ничего случайного не было. Народное слово и должно было прийти к народу.

Все, кто встречался с Трофимом Григорьевичем, почитали его за степенство, «вежество», рассудительность. Он ни перед кем не заискивал, знал себе цену. Будь перед ним такой же, как он, мужик-крестьянин или заезжий барин с высокомерными претензиями.

Рыбников поведал такую историю, приключившуюся однажды со сказителем: «Появился по каким-то делам в Кижской волости полицейский чиновник. Не обошел он и Середку. А был он в этих краях не впервые то ли по делам межевого ведомства, то ли палаты казенных имуществ. Словом, еще в прошлый приезд он за какое-то дело просил с Трофима Григорьевича взятку. Тот наотрез отказался, считая это дело греховодным. И тут он снова встретил Рябинина. Заела обида чиновника: как же так, простой неграмотный лапотный мужик посмел супротив его идти, и набросился на него с кулаками. Трофим Григорьевич не растерялся, без лишней горячности отодвинул от себя на почтительное расстояние разгневанного чиновника, от которого к тому же попахивало вином, а Трофим Григорьевич страсть не любил этого, и спокойно ему сказал: «Ты, ваше благородие, это оставь; я по этим делам никому еще должен не оставался».

Короткое карельское лето с его белыми ночами, когда путешественнику и шалаш лесной — что дом родной. С началом сентября зачастили дожди. Низкое небо нависло над рябой гладью озер. В зеленые кудри берез стали незаметно вплетаться желтоватые пряди. Осень в этих местах особенно красива. Только Александру Федоровичу уже некогда было любоваться красотами и ждать наступления благодатных дней бабьего лета. Несколько обильных ливней так размыли и без того плохие дороги, что о дальнейшем путешествии не могло быть и речи. Но он решил твердо, что через год непременно повторит

поездку. А пока необходимо было вернуться в Петербург.

В столице по его просьбе сразу же было созвано заседание отделения Географического общества, и он доложил почтенным собратям, а также всем явившимся любителям-энтузиастам итоги своей экспедиции, до предела насыщенной не просто впечатлениями, но практическими результатами. К счастью, сохранился протокол того заседания, в котором можно прочесть: он «выразил мнение, что для лиц, занимающихся исследованиями нашей былевой поэзии и вообще дорожащих ею, было бы интересно послушать, как эти былины поются в народе... Если отделение этого пожелает, пригласить сюда в Петербург одного из замечательнейших «сказителей» Олонецкой губернии, с которым он познакомился, крестьянина Т. Г. Рябинина, причем издержки по путешествию и пребыванию здесь в Петербурге г. Гильфердинг берет на себя, а просит отделение лишь о назначении Рябинину некоторого подарка».

Подарок предполагался денежный размером в сто рублей. По тем временам деньги немалые. Тем более для крестьянского подворья. Вспомним, что в молодости, когда Трофим Григорьевич становился на ноги, для него каждый заработанный рубль на отхожем промысле много значил.

В том же году, после того как Онежское озеро сковало льдом и до Петрозаводска можно было добраться санным путем, Трофим Григорьевич приезжает оттуда в столицу. Здесь его ждали. Остановился, как и предполагалось, в доме Гильфердинга. Появление сказителя перед публикой состоялось в зале Географического общества. Принимали его у себя и в Славянском благотворительном обществе, в Соляном городке, вероятно, в учебных заведениях и частных домах. Выступления Рябинина вызвали большой интерес в среде передовой русской интеллигенции, видевшей в народном творчестве, в глубинных его ис-

токах еще плохо изученный пласт национальной культуры.

Для самого же Гильфердинга приезд лучшего заонежского сказителя имел особое значение. Есть косвенные сведения (в том числе и в воспоминаниях семьи), что гость прожил в Петербурге месяц с лишним. Это позволило Александру Федоровичу вести с ним сосредоточенные, неторопливые беседы, записывать все былины и духовные стихи, какие тот извлекал из кладовой памяти. Наверное, в истории русской фольклористики это была первая такая продолжительная и научно выверенная запись. Трофим Григорьевич пропел тогда двадцать шесть былинных сюжетов.

Хочу снова подчеркнуть: собранные материалы неоспоримо свидетельствуют о том, что если на Русском Севере бытовало до тридцати былинных сюжетов, то больше Трофима Григорьевича их не знал никто. Как видим, рябининская традиция пошла от мощных корней — зачинатель сказительской династии знал, по существу, все былинное наследие своего народа!

У каждого певца были любимые произведения. Были они и у Трофима Григорьевича. Публично он постоянно исполнял «Вольгу и Микулу», «Илью и Соловья-разбойника», «Святогора», «Илью, Ермака и Калина царя». Некоторые другие. Как следует даже из названий, эти былины (не боюсь повториться) выходят из глубин русской истории или, точнее, истории народной культуры. А если брать шире, то из восточнославянского эпоса. Речь идет о единых истоках.

Это уже хорошо почувствовал на опыте своих выступлений и встреч с носителями восточнославянского эпоса сын знаменитого сказителя Иван Трофимович Рябинин-Андреев. К чему я еще вернусь. Сейчас же просто уместно несколько слов сказать о том, что, путешествуя по славянским землям, он с интересом наблюдал бытование народной поэзии в устном исполнении. Так, к примеру,

будучи на территории нынешней Югославии, в Травнике в течение вечера слушал рапсодии бродячего гусяра о народном герое боснийцев-католиков Иване Сенягине.

Рыбников и следом за ним Гильфердинг, открывая и утверждая былинный эпос, как я уже говорил, обошли стороной причитания, относя их к лирической поэзии, которая целиком, по их мнению, принадлежала женщинам. А между тем эпическое начало во многих причитаниях выражено достаточно ярко и убедительно, тем более в монументальных полотнах Ирины Федосовой и Анастасии Богдановой. Но этот пласт удастся открыть уже третьему исследователю — Елпидифору Васильевичу Барсову, который познакомится с Ириной Федосовой в Петрозаводске в 1886 году. Впрочем, тут уже другая тема...

Известный советский фольклорист К. Н. Чистов в книге «Русские сказители Карелии», в частности, отмечает: «Былинная традиция в устах современников Рябинина продолжала переживать активное творческое варьирование. Особенно ярко это сказалось в творчестве многознающих и талантливых исполнителей, к числу которых принадлежал и Т. Г. Рябинин. Былины воплотили в себе социальную и нравственную норму в жизни северорусского крестьянства. В этом и был залог жизненности героического эпоса на русском Севере».

Петербургские газеты не обошли стороной приезд в столицу певца народных былин, чье имя становилось известным не только в узком кругу ученых-фольклористов и творческой интеллигенции. Так, газета «Русская старина» писала: «Давно не видали в залах Географического общества на 500 мест такого многочисленного собрания, как то, которое посвящено было отделением этнографии слушанию былин». По свидетельству других газет, зал Геогра-

фического общества был переполнен. Сюда пришли такие именитые люди и деятели культуры, как президент Академии наук, мореплаватель, адмирал Ф. П. Литке, сам президент Географического общества великий князь Константин Николаевич, историк искусства В. В. Стасов, профессор-фольклорист О. Ф. Миллер. На одном из вечеров М. П. Мусоргский записал мелодии двух былин — «Вольга и Микула» и «Добрыня и Василий Казимирович». Слушал Рябинина и другой великий композитор — Н. А. Римский-Корсаков. В своей «Летописи музыкальной жизни» он потом вспоминал, что источником для речитативов в опере «Садко» послужило пение былин сказителями Рябиниными... (Через тридцать лет в том же зале ему доведется слушать и сына Трофима Рябинина — Ивана Трофимовича.)

Зал Географического общества, где выступали многие мои земляки, сказители, вопленицы и сказочники, сохранился почти в нетронутом виде. Оказавшись лет десять назад в Ленинграде, я попросил своих коллег, ленинградских писателей, сводить меня на любое мероприятие в этот зал, чтобы я полнее смог представить царившую здесь когда-то атмосферу.

Моим друзьям удалось достать билеты. В тот раз была лекция о неопознанных летающих объектах с показом слайдов и самих объектов, и тех, кто ими управляет... Ни фольклорный, ни литературный, ни любой иной вечер, пожалуй бы, такого интереса не вызвал. Что же — у каждого времени свои духовные ориентиры, свои увлечения. Но интерес к былине, к народному творчеству не подвержен никаким модам и веяниям. Он, правда, под влиянием обстоятельств порой угасает, но потом вновь возгорается. Сейчас, когда на повестке дня — возрождение России, устное народное творчество получает как бы новое, современное прочтение. Книги о народных певцах, тексты,

записанные от них, расходятся в считанные недели. Фольклорные праздники в Кижях, в Киндосове, в Калевале (сужу только по примерам, мне близким и доступным) неизменно собирают большое количество любителей старины, почитателей народной культуры. Праздник Ирины Федосовой на земле Заонежья стал традиционным. Не сомневаюсь, что 200-летие со дня рождения Трофима Григорьевича Рябинина поднимет волну интереса к северному русскому эпосу, к личности самого сказителя и его последователей.

А тогда в зале Географического общества я мало вникал в смысл сенсационных сведений о появлении инопланетян, а больше думал о той сенсации, которую вызвало в этом зале и вслед за ним во всем читающем Петербурге живое народное слово.

Устроители вечера решили провести его в двух отделениях. Выступить несколько часов подряд сказителю в едином лице было бы утомительно, хотя Трофим Григорьевич никаких условий не ставил и готов был петь столько, сколько пожелает его слушать и почтенная публика. В получасовой перерыв его напоили чаем. Гильфердинг осведомился, какие былины он хотел бы еще исполнить. Сказитель не собрался с ответом, как Стасов попросил:

— Трофим Григорьевич, пропой-ка нам снова о «Добрыне и Маринке» да «О муже, бежавшем от жены в Москву». А там по твоему усмотрению, коли на то будет желание слушателей и голоса твоего хватит.

Именно с этих былин и начал выступление Рябинин, второй раз появившись перед залом. Когда вечер закончился, раздался гром рукоплесканий, который долго не утихал. Трофим Григорьевич был заметно растроган и непривычно волновался.

В тот же вечер Мусоргский сделал запись «рябининского напева». А позже обратился к ней, создавая оперу «Борис Годунов». В декабре того же года, вероятно, через

неделю, Илья Репин выполнил графический поясной портрет Трофима Григорьевича. Этот эпизод знаменателен и тем, что как раз в это время художник напряженно трудился над картиной «Славянские композиторы» и работа над портретом заонежского сказителя, в котором он с присущим ему мастерством сумел выразить народный характер певца, глубину его мысли, символизировала общность славянских культур, их взаимопроникновение.

Долго и заинтересованно разговаривал с нашим рапсодом великий князь Константин. Трофима Григорьевича не смущало его высокое происхождение, да и князь держался просто и естественно; расспрашивал о его жизни в деревне, часто ли он дома поет былины, много ли людей собирается его слушать. Трофим Григорьевич обстоятельно рассказывал о деревенских традициях:

— В посту былины не поем. Духовные стихи больше. А так поем и по праздникам, и в будничные дни. Вечера у нас зимой долгие. Соберутся люди на беседу, тут кто сказку скажет, а кто и былинку споет. Мне сподручней былины. Петь я научился от своего тестя да от других наших стариков. Теперь вот и сын мой Иван не меньше отца знает. Может, и ему выпадет судьба сюда приехать.

Великий князь поблагодарил сказителя за беседу и подарил ему в знак расположения золотой червонец.

Географическое общество выдало ему обещанные сто рублей. Был он награжден медалью. По всей видимости, серебряной, потому что представителей крестьянского сословия золотыми не награждали. Вернулся Трофим Григорьевич домой с гостинцами и подарками. Привез деньги на нужды хозяйственные, а часть выделил Ивану, когда тот женился первый раз и стал жить отдельно от родителей.

Но с вручением медали дело несколько затянулось из-за протокольных проволочек. Бюрократические механизмы и тогда уже работали на полном ходу. Медаль позже

была выслана в Петрозаводск. Нам даже известно, когда именно: 15 марта 1872 года секретарь этнографического отделения общества доложил о письме олонецкого губернатора, который извещал общество о том, что он пригласил заонежского сказителя в Петрозаводск и вручил ему медаль в торжественной обстановке.

Трофиму Григорьевичу суждено было стать первопроходцем на трудной дороге приобщения к былинному слову многочисленных и самых разнообразных слушателей вдалеке от своей родины. Он владел не только самым богатым среди сказителей репертуаром, но и ярко выраженной манерой исполнения. Внутреннее чутье, несомненный художественный вкус помогали ему выстраивать былины таким образом, что они становились стройнее по сюжету, в них выпуклее проступали главные героические образы. Последователи сберегли его школу, и это, пожалуй, одно из условий, позволивших былине почти без изменений, избежав ненужных напластований времени, дойти до наших дней.

Но он был первопроходцем и в слиянии устной былевой традиции с письменным словом. Неграмотный в прямом смысле, однако душевно грамотный человек, он только поначалу недоверчиво воспринял предложение Рыбникова записать его былины. Мало ли до того появлялось в Заонежье чиновников, и все они норовили объегорить мужика, а то и открыто что-нибудь урвать. Довольно скоро сказитель понял, что записи ничего плохого не сулят — напротив, многие люди в городе благодаря им смогут как бы заново ощутить свои корни, вспомнить, что живут в народе, а он, Трофим Рябинин, один из тех, кто поет былины. Рыбников стал его другом. Отношения их, несмотря на большую разницу в возрасте, сделались доверительными, теплыми. Они обменивались подарками, гостили друг у друга. На квартире Рыбникова в Петрозаводске сказитель из Заонежья всегда был желанным гостем.

Первопроходческая стезя привела Трофима Григорьевича и на подмостки петербургских и московских залов, заполненных — вместо своих соседей-крестьян, и так знавших немало былин и сказаний,— публикой совершенно из другого для него мира. Внешне даже чуждой не только крестьянской жизни и ее обычаям, но и самим былинам. Вроде и пришли все, чтобы поглазеть на сказителя как на экспонат, умеющий петь какие-то там старины...

Справедливости ради надо сказать, что часть слушателей приходила именно с этой целью, от нечего делать, чтобы развеять скуку надоевших вечеров в замкнутом кругу с игрой в карты или со спиритическими сеансами, чтобы отвлечься от бесконечных бумаг и сплетен в департаментах. Но по мере общения со сказителем, когда его пение непонятным образом завораживало зал, таких случайных и скептически настроенных слушателей становилось все меньше и меньше.

Первопроходческая стезя Трофима Григорьевича проторила путь к широкому российскому слушателю и целой плеяде заонежских сказителей. Я уже рассказывал о Василии Щеголенке, о его встречах с Толстым, который в общении с ним записал двадцать шесть легенд, используя их впоследствии в своих и художественных, и философских сочинениях. Рекомендую сказителя Стасову, Лев Толстой писал 2—3 августа 1879 года: «У меня гостил летом податель этого письма Василий Петрович Щеголенок, олонецкий мужик, певец былин — очень умный и хороший старик». И Стасов в конце того же года организовал в Петербурге цикл выступлений народного самородка.

Кто-кто, а Толстой понапрасну, ради красного словца, не стал бы странствующего мужика, пусть даже и былины умеющего петь, награждать такими высокими эпитетами. Видно, это действительно был «умный и хороший старик»! О том свидетельствует и письмо самого Щеголенка, отправ-

ленное им в Ясную Поляну из Заонежья 1 сентября 1879 года:

«Ваше сиятельство, Лев Николаевич! Да сохранит Вас Бог в нерушимом здравии и благополучии на многие года! От души благодарю Вас, Ваше сиятельство, за радужный отеческий прием и за все Ваше доброе! Часто, очень часто я вспоминаю о своей жизни у Вас и рассказываю здесь своим знакомым, как гостил я у графа Льва Николаевича. Супруге Вашей, ее сиятельству Софье Андреевне, свидетельствую свое искреннее старческое почтение и вместе с благожеланием свой поклон. Также и детушкам Вашим, не всем поимянно, а всем равно, как поется в былине, посылаю свое глубокое почтение и поклон. В настоящее время я живу дома в Олонецкой губернии, но мыслями своими летаю по тем местам, где погостил в это лето, и своею священной обязанностью считаю молитву о Вас, Ваше сиятельство! Ключнице Вашей Марье Афанасьевне и другим служащим Вашим поклон от старца-сказителя».

Письмо было впервые опубликовано Э. Е. Зайденшнур в сборнике «Л. Н. Толстой и русская литературно-общественная мысль», вышедшем в Ленинграде в 1979 году. Читая его, я подумал, что если даже местный грамотей-писарь (писал не сам Василий Петрович — на сей счет у меня нет никаких сомнений) подпустил в него несколько канцелярских оборотов типа «благодарю Вас, Ваше сиятельство», ибо имя и сам графский титул Толстого были для него таким же божеством, как сам царь-православный государь, и он не мог не отдать дань некоторым обязательным выражениям, то уж такие слова и мысли, как «детушкам Вашим», «не всем поимянно, но всем равно», «как поется в былине», «посылаю свое глубокое почтение и поклон», диктовал сам Щеголенок. В этих простых, но таких истинно народных словах светится живая душа былинщика.

После Трофима Григорьевича выступления заонеж-

ских сказителей в обеих столицах и других городах России (а Иван Трофимович проторит дорогу и в европейские страны) станут регулярными. Каждый из сказителей и каждая из воплениц (хотя их тоже называли сказительницами) заслуживают отдельного разговора, пристального внимания к их судьбам. Такой возможности у меня сейчас нет. Это задача отдельной книги. Но я хочу хотя бы напомнить имена — И. Т. Рябинин, И. А. Касьянов, И. А. Федосова, А. П. Богданова, И. Г. Рябинин-Андреев...

Сам же Трофим Григорьевич после 1871 года — после триумфа, «устроенного» ему Географическим обществом, — занимался, как и всегда, хозяйством, понемногу старел, дожил до глубокой старости и скончался летом 1885 года в окружении детей и внуков. В те годы как раз всходила звезда всероссийской известности его землячки из деревни Кузаранда — Ирины Андреевны Федосовой.

...Все выступления заонежских былинщиков и воплениц, занявшие довольно продолжительный отрезок времени, внесли ощутимый вклад в развитие русской культуры. Я снова возвращаюсь к этой теме.

Некрасов, который построил монументальную энциклопедию крестьянской жизни — поэму «Кому на Руси жить хорошо» исключительно на материалах русского фольклора и народного говора, не мог не отразить причитаний Ирины Федосовой и образа самой сказительницы. Лев Толстой, Антон Чехов, Максим Горький и еще разные большие и не очень большие писатели смело соединяли традиции устного народного творчества с передовыми взглядами и идеалами своего времени, обогащая национальное самосознание народа.

Обработками былинных напевов и причитаний вдохновенно занимались композиторы Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков, Балакирев, Аренский... Художники Васнецов, Репин, Врубель, Суриков, Саврасов, Билибин и многие другие тоже не могли обойти в своих поисках

и работах эпическое богатырское начало, заложенное в северных былинах.

Исследователи и просто заинтересованные читатели нередко задавались вопросом: какую же конкретную эпоху отражала та или иная былина, где очерчиваются географические границы ее рождения? На этот вопрос, как мне кажется, однозначно ответить невозможно. Совершенно очевидно просматривается их хронологическая неоднородность. И географическая тоже. Какие-то былины (а иногда и части былин) соответствуют периоду Киевской Руси, другие — Московской Руси, а в третьих мы находим черты вольного духа древнего Новгорода. Но все вместе они складываются в удивительно цельную и стройную картину истории нашего государства, ярко воссоздают образы государственных деятелей и воинов-богатырей, носителей лучших черт народа, его гуманности, стремления к любви и справедливости.

АВТОРСКАЯ РЕМАРКА

Совсем недавно мне попалась заметка с описанием вечера в Литературном обществе 18 января 1883 года. Среди присутствующих были А. Чехов, В. Григорович, Д. Мережковский, И. Репин, делавший зарисовки с Ивана Трофимовича, выступавшего на этом вечере. Автор описания — известный тогда публицист М. О. Меньшиков. Заметка небольшая, и я приведу ее целиком, потому что она поможет нам по-новому представить характер и облик сказителя. Да и не каждый день на глаза попадаются подобные заметки:

«На днях... призраком глухой деревни мне довелось — не увидеть, а услышать в двух собраниях, ученом и литературном <...> вдруг зазвенел слабый тенорок, и я увидел низенького, тощего мужичонка, с окруженною платком шеей, в старом пиджаке и валенках. Мужичонка

запел нищенский стих о Вознесении Господнем, древний бог знает когда и кем сложенный в глубине деревни <...> он пел... трогательную историю, как Христос царь небесный, вознесясь на небо, восхотел обеспечить свою меньшую братью, крестьянскую, как он подарил им «гору золотую», «реку медвяную», но как нищая братия не захотела этого дара на том основании, что гору золотую отнимут «могучие люди», а что по совету Иоанна Богослова лучше Христос пусть подарит нищей братье свое имя святое, разрешит «по миру ходити и имя святого нарекати». Мужичонка пел этот стих, полный глубокой и скорбной поэзии, серьезно и наивно, красивым печальным голосом. Когда в Литературном обществе он пропел окончание, где Христос за столь мудрый совет св. Иоанна жалует ему золотые уста, отчего он и будет прозван Златоустом, — сидевший рядом с мужичонком государственный контролер Т. И. Филиппов заметил ласково певцу: «Хорошо, брат, ты поешь, Иван Трофимович, а Иван Златоуст был другой святой, живший через четыре века после». — Мужичонка возражать не посмел — он раскольник, старик и безграмотный, — но, видимо, остался при своем мнении. Потом он запел былины про Добрынюшку Микитинца, про хобрую его дружинишку, про светлого князя Володимера стольно-киевского; про Микулу Селяниновича и его кобылочку... Древней, непроглядной стариной пахнуло от этих былин <...> Оказывается, Ивана Трофимовича, вывезенного в Петербург олонеким учителем (сказителя в поездках сопровождал учитель Петрозаводской гимназии П. Т. Виноградов. — *И. К.*), берут нарасхват: приглашают петь в ученые общества, в учебные заведения, по 15 руб. за каждый раз <...> В Литературном обществе все время, пока пел Иван Трофимович, этот, наверное, уже последний из настоящих баянов народных, на него побрасывал свои вещие взоры известный художник Репин и что-то рисовал карандашом. В иллюстрациях, значит, где-нибудь появится эта сцена.

По окончании пенья и рассказа баяна обступили литераторы, новейшие баяны: Величко, Мережковский, беллетрист Чехов и пр. Перед талантливейшими и новейшими представителями культурной поэзии стоял в серых валенках бедный и безграмотный, как во Владимировы времена, представитель народной поэзии. Минута была торжественная, которая едва ли когда повторится. Перед молодым обществом стоял тысячелетний «народ».

— Правда ли, что у вас голод нынче? — спросило «общество» в лице одного беллетриста.

— Правда. Совсем есть нечего и достать негде, — отвечал «народ».

— А что же земство ваше? — спросило «общество».

— А земство ничего не делает, хоть подавай прошение, хоть нет.

Тут «народ» прибавил такую мысль по адресу своих заправил, что я лучше воздержусь от передачи».

К этому описанию для любознательного читателя можно сделать такое примечание. Рисунок Репина «Литературный вечер» экспонировался на I выставке этюдов, рисунков, эскизов и произведений Товарищества передвижных художественных выставок 1903 года с указанием: «Собр. В. Л. Белоручева, Москва». Экспонировался он также и на выставках Репина в Москве и в Ленинграде (1936, 1937 гг.). В настоящее время местонахождение рисунка неизвестно. Сохранился его негатив.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАССКАЗА МАРИИ ФЕДОРОВНЫ

Иван Трофимович был заботливым, хорошим семьянином, как и его отец. Внимательным, любящим мужем и отцом. Не случайно и пасынок его Иван Герасимович крепко к нему привязался. Все сказители были прежде всего крестьянами, хозяевами, и поэтому Иван Трофимович, как того требовала сама жизнь, все свободное время отдавал хозяйственным заботам. Приучал к этому

и сыновей. Дорожил нажитым, заработанной копейкой. Жаден до добра не был, но был расчетлив и бережлив. Скотина на дворе была сытой и ухоженной. «Скотинка», как он ее ласково называл. Ловушки на просторной повети сарая содержались в полном порядке. Дрова хранились в длинных кострищах вдоль задней стенки сарая. Не страшны были трескучие морозы в уютных натопленных комнатах, когда начинались длинные зимы с туманными метелями по всему озеру. Все было на зиму заготовлено, припасено впрок и ко времени: грибы посолены и засушены, ягоды заморожены, и брусника в большом деревянном чане будет стоять до лета. Хороша она прямо с мороза. А приоттаает, свежим бором пахнёт в избе. Первая приправа к овсяной каше-загусте или к овсяному киселю, да и от многих недугов первое дело. Мясо с осени по первым заморозкам засолено в деревянном ушате, а то и в двух, если год был убойным. Рыба тоже засолена в бочке — сига и ряпушка. Бывает и красная — палья и лосось, но та штучная рыба и отложена для праздников и редких гостей. Само собой в каждом доме имеется сушик из окуней и другой мелкой рыбы. Им заполнена большая двуручная корзина, стоит на запечье. Капуста, до которой таким большим охотником был Иван Трофимович, тоже запасалась в достатке и квасилась по-особому. В каждом доме свои секреты солений и сушений, вялений и толчений, квашений и приготовлений... Картофельная яма до весны наглухо закрывалась. А той картошки, что хранилась в подполье, под жилым помещением, хватало как раз до весны. Там же в особых отсеках под рукой были и овощи: капуста и морковка, репа и свекла... Все было продумано и предусмотрено традиционным вековым укладом. Сытые кони во дворе весело похрупывали пахучим сеном. Зимой они работали меньше, набирались сил, чтобы по весне снова натягивать хозяйские гужи.

Был у Ивана Трофимовича вороной горячий конь.

Любил он его и холил. Конь слушался хозяина. На него не нужно было покрикивать. А когда после поездки в гости или за сеном на дальние пожни он распрягал своего вороного, то разговаривал с ним, как с другом:

— Ну что, родимый, притомился. Ишь пар-то со спины как из байны валит. Ну ничего, сейчас я тебя оботру, накормлю; отдохнешь, и снова захочется в путь-дорожку, во поле чистое, выгнешь ты свою богатырскую шею, начнешь версту за верстой отмахивать супротив ветра буйного...

Конь для Ивана Трофимовича был не только первым помощником в хозяйстве, но и частью его духовной жизни. Любовь к нему шла и от былинного склада его души. Взять его любимую былинку. В ней он коня называет не иначе, как «добрый конь», «брал коня за поводка шелковые, выводил его на широкий двор». Или: «тут садился молодец на добра коня», «по чисту полю-раздолью стал поскакивать и по целой версте да перемахивать».

Тосковал Иван Трофимович в поездках по своему дому, по «детушкам ненаглядным», по ловушкам своим (в порядке ли они), по своей «скотинке».

Наиболее продолжительной была его заграничная поездка. Длилась она свыше четырех месяцев. Мог ли он думать, что посмотрит почти все европейские столицы! Наверно, никому из наших заонежан до него да и после него еще долгое время не довелось совершить такого захватывающего дух путешествия. Жил он в хороших гостиницах. Кормили его только что не из золотой посуды. Было чему подивиться и от чего растеряться. Разные чудеса диковинные показывали. Нельзя сказать, что он оставался равнодушен. Нет, поначалу он даже проявил ко многому живой интерес. В Вене Виноградов повел его в какую-то галерею. И те картины, на которых были изображены рыцари да всякие баталии, он с удовольствием все рассматривал. Это ему чем-то напоминало былинных богатырей, любимых своих героев. Но вот

Ивана Трофимовича подвели к полотну с обнаженной женской фигурой. Сказитель в первое мгновение как будто оцепенел, но тут же молча отвернулся и направился к выходу. Больше по музеям его не водили. Но городские памятники он осматривал с удовольствием. Однажды, не важно где это было, он остановился перед статуей какого-то короля или полководца, сидящего на коне. Он долго смотрел на изваяние, но больше его привлекал не всадник, а конь.

Пестрота событий и смена впечатлений стали его понемногу утомлять. Найти уединение для раздумий и покой для души удавалось далеко не всегда. За выступления платили. И другой человек на его месте в погоне за лишним рублем не стал бы торопиться домой. А он рвался обратно в Заонежье, но Виноградов всякий раз напоминал: контракт надо выполнить.

АВТОРСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

На этот счет есть и документальные свидетельства. Иван Трофимович, конечно, не раз в кругу домашних и соседей рассказывал о своих поездках, встречах. Человеком он был компанейским и живую беседу любил поддерживать. Нам сегодня драгоценно каждое слово его современников, с кем он общался и кому довелось бывать с ним рядом во время его выступлений. И хотя свидетельства эти случайны и не всегда, как мне кажется, объективны, все же они дополняют облик второго представителя династии, помогают понять и как бы услышать его манеру исполнения былин и стихов.

Семейные предания донесли до нас некоторые эпизоды жизни Ивана Трофимовича дома и за его пределами. Но обратимся вновь к воспоминаниям Евгения Ляцкого. Хочется верить, что они добросовестно документиро-

ваны, ведь он был одним из организаторов выступлений сказителя. А скромная его книжечка с дореволюционных пор так и не переиздавалась.

Кто-либо из сопровождавших непременно брал на себя вступительное слово. Иногда такое вступление затягивалось, думаю, «докладчик» излишне увлекался выпячиванием собственной персоны. Наверно, это не нравилось сказителю, и Ляцкий свидетельствует, что Иван Трофимович предупреждал: «Ты обо мне много не говори, еще и успеть куда надо». Потом он медленно поднимался на сцену, садился и слегка откидывался на стуле. Исхудалые черты его лица принимали особое выражение. Пел он больше одни и те же былины про Вольгу и Микулу, Илью Муромца, Добрыню Никитича и духовные стихи про святых. По окончании каждой былины восторгам и аплодисментам не было конца.

Рассказывает автор очерка и о том, какие казусы подчас возникали в московских женских учебных заведениях. Устроители вечеров находили неудобными отдельные выражения, настаивая, чтобы при пении они были пропущены. Иван Трофимович обижался:

— Нежто из песни слово выкинешь? То выкину, другое, а что от былинки останется? Да и что в том зазорного? На то она и старина, что как старики певали, так и нам петь надо. Нет, в Питере лучше было, там об этом не спрашивали...

После долгих увещеваний соглашался, но неудовольствия не скрывал.

Однажды его попросили петь былины не до конца, а только начало каждой и таким образом исполнить все, которые он знает. Сказитель был поставлен в тупиковое положение:

— Как же так? Как же это будет? Мне так петь совсем необычно. Спою я вам былинки одной начало, вы тут и остановите, а может, лучшие-то слова как раз у конца сказываются?! Вот и выйдет нехорошо: былинка вам и

не понравится. Нет уж, по мне, коль слушать, так слушай всю былинку, а так что же — одно баловство.

Иван Трофимович был глубоко убежден, что слово, завещанное предками, не должно подлежать пересмотру. В том разгадка силы и живучести народной поэзии — в трепетном, я бы сказал, к ней отношении, былина ли это, причетъ или песенный сказ. Именно почитание традиций позволило Рябининым пронести былины через четыре поколения, сберечь их основные черты, ни в чем не исказить характеры героев, бережно сохранить содержание и образный строй.

Я не считаю себя глубоким знатоком былинного творчества. Мое отношение к нему на уровне поэтической эмоциональности и своей родовой памяти. Когда мой дед по отцу Петр Федорович ослеп, а было ему около семидесяти, мне, семилетнему внуку, он стал чаще рассказывать сказки и былины. Нет, сказителем он не был, но в памяти его удержалось то, что он не раз слышал от настоящих сказителей на ярмарках, которые проводились в четырех километрах от нашей деревни, в славной некогда Шуньге.

Позволю себе сделать небольшое отступление и опять вспомнить военное свое детство.

К осени 1941 года Заонежье было оккупировано войсками финского предводителя Маннергейма. Жителей многих деревень восточного побережья Онежского озера эвакуировали в глубь полуострова. Береговая линия Онега стала как бы возможным театром военных действий. Это, правда, иная тема. Речь в данном случае о том, что вместе с нехитрым домашним скарбом мы захватили с собой несколько книг. Мать моя, вопленица и вышивальщица, выучившаяся грамоте самостоятельно в старообрядческой семье, любила сама читать сказки и былины, а повесть Пушкина «Дубровский» пересказывала соседям по памяти. Ее-то память нам, всем шести семьям, живущим в одном двухэтажном доме в селе, которое по странному совпа-

дению называлось Костино, очень в эти дни пригодилась. Вечера мы коротали без света, и слушателей всегда хватало. Кто расскажет сказку. Мы, вчерашние школьники, читали запомнившиеся стихи. Однажды я прочел из Лермонтова:

А у ног Ерусалима
Богом сожжена
Безглагольна, недвижима
Мертвая страна...

Матери эти строки не понравились. И она осердилась: «Нет, боженька этого не позволил бы. Это богохульство. Это проклятые изверги и безбожники все вокруг жгут и истребляют...»

Но уж когда я начинал читать былины и сказки, которые были у нас среди немногочисленных книг, тут возражений с ее стороны никаких не было. Их волшебный и реальный мир был ей понятен. Не обходилось, правда, и без казусов. Скажем, читая былинку про Алешу Поповича, я то и дело сбивался на Алешу Петровича, и тогда мать от души смеялась: «Так Алеша Петрович — твой отец. А то богатырь Алеша Попович». С той поры я навсегда запомнил этого Поповича.

К месту или не к месту делаю подобные оговорки? Но не будь у меня такого детства, не возникло бы желания написать книгу.

Сказители окрашивали слово своей интонацией и смыслом. Несколько суховатое «былина» Иван Трофимович заменял «былинкой», Добрыню Никитича — Микитинцем, вместо «стосковалось сердце» — «стоснулось мое сердечушко». Примеры нетрудно продолжить. Еще совсем недавно мне приходилось слышать на родине выражения: «схожу за вóдушкой да самовар поставлю на палку. Водичка у нас — небо лежит на донышке», «милости прошу,

дорогие гостюшки, хорошие люди и хозяевам в радость», «хороша девка, как писаная миска». В народных высказываниях — россыпи юмора и житейская мудрость. Убежден, что сейчас почти уже невозможно передать ощущение того языкового богатства, которым владели сказители.

...Раскрываю книгу «Досюльная свадьба. (Игры, песни и танцы в Заонежье Олонецкой губернии)». В подзаголовке значится: «Собрано и изложено в драматической форме В. Д. Лысановым. Петрозаводск, «Северная скоропечатня» Р. Г. Кан. 1916 г.».

Книга — библиографическая редкость. Подарил ее мне, еще начинающему литератору, бывший директор Пушкинского Дома В. Г. Базанов, зная, что она не раз пригодится. И, конечно, пригодилась.

Что же в предисловии писал автор? «Свадебные обрядности, причити, песни, пляски и костюмы, занесенные к нам в Заонежье выходцами из Великого Новгорода, крепко держались у нас вплоть до 80-х годов XIX века, но уже в 1880 году от прежней старины, к великому сожалению, и следа не осталось». С этим я согласиться никак не могу. «Досюльнее», то есть все давнее, старинное, сохранялось, пожалуй, до 50-х годов нашего столетия, а отдельные осколки той культуры и быта можно еще найти и сегодня.

Но я чуть отвлекся. Досадно, что среди и без того немногочисленных воспоминаний об Иване Трофимовиче есть случайные, необязательные, да и то в их достоверности я лично сомневаюсь. Вот, к примеру, какой эпизод приводит один из организаторов выступлений, пытаюсь придать словам сказителя его интонации:

— Бегаешь, бегаешь, как шальной, а много тут не заработаешь. Больше того, разоришься — за постой отдай, за хлеб-соль заплати, за извозчика накинй; за квас и то платишь.

— Понапраслину на себя наводишь, Иван Трофимо-

вич, — возражает собеседник. — Разве уж так плохо тебе платят?

Вряд ли Иван Трофимович был исключительно озабочен заработком. Скорее его «администраторы» преследовали свои цели. К тому же были и другие свидетельства, и мне они представляются более правдоподобными:

— А уеду я от вас домой, больно уж соскучился. Соберусь и уеду. Прах их побери, эти деньги! Ладно ли все дома-то?

Вот какие мысли волновали его, а не стремление заработать. Что, кстати, подтверждает и Мария Федоровна в беседе с племянницей Леной. Конечно, как всякий крестьянин, он умел ценить копейку. И все же...

К любой своей поездке Иван Трофимович готовился тщательно и запасался всем, что могло ему потребоваться в дороге или «на фатере». Чаще всего в свободное время он вязал сети. Все для этого тоже было под руками. Любил в свободный час по магазинам походить, посмотреть, сколько стоит «одежа и обутка». Надо было и домой подарки купить. Но выпадали такие дни, когда он сплошь, по пять-шесть раз пел былины. Это вдвое превышает сегодняшние нормы выступлений. И уж, наверно, не сам Иван Трофимович навязывал себе темп. Напротив, он с недоверием относился к тем людям, которые «подгоняли» его, прельщая заработками, если он будет их во всем слушаться. Об этом он часто вспоминал в домашнем кругу:

— Я убегал инда со своей «фатеры», а то покоя не было: Иван Трофимович, одного меня слухайся, казну большую добудешь. И никому не верь, а мне одному верь. Тут-то я и перестал былинки распевать да сказы рассказывать для записи. Мало ли что у кого на уме. И стал отнекиваться. Приезжайте в деревню, там и попою и расскажу чего надо. Дома и стены в помощь идут.

Напряжение и в самом деле было велико, и оно сказалося на голосе. Не стало прежней выразительности. Это почувствовал и сам сказитель и, никого не предупредив, уехал домой.

Многие молодые слушатели, особенно словесники, под влиянием его были бы если не на всю жизнь, то надолго приобщились к могучему слову народного эпоса.

В 1902 году Иван Трофимович вновь побывал в Москве и в Петербурге. К сожалению, подробностей этих поездок и его выступлений не сохранилось, кроме заметок в газетах. Несомненно одно: выступал он с тем же мастерством. Опыт предыдущих встреч его многому научил, и теперь он знал, как держаться на людях, что сказать, а про что лучше и умолчать. Достоверно известно, что из второй поездки он привез уже не серебряную, а золотую медаль, памятные подарки. Вероятно, и деньги.

Слава сказителя в эти годы распространилась по России. Да и сам он посетил ряд городов. О нем писали такие солидные газеты, как «Правительственный вестник», «Санкт-Петербургские ведомости», приводя любопытные случаи из его жизни, подмечая черты характера, любимые выражения и привычки. Прочитую, к примеру, «Санкт-Петербургские ведомости»: «Это еще бодрый крестьянин, державший себя совершенно свободно и, по видимости, несколько не смущавшийся многочисленным обществом... Голос его сильный и чрезвычайно симпатичный». А на одном из московских выступлений сказителя академик Вс. Миллер произнес речь, в которой, в частности, сказал: «Из занесенной снегом своей деревеньки Гарницы, Кижской волости, Петрозаводского уезда, он явился как живое предание глубокой старины, как один из последних хранителей эпической традиции. Не из хрестоматии, не из печатных сборников, как все мы, знает он свои былины; да этим путем, как неграмотный, не мог он и получить их. Он прислушивался к ним в молодости, когда их пел его отец, и они вместе с напевом отложились в его памяти. Только в его

пении былина перестает для нас быть каким-то навеки закрепленным печатью произведением. Оно чувствуется как словесное, живое, развивающееся в частности, тесно слитое с напевом и метрически складное. Никакое детальное научное изучение не может воспроизвести в нашем воображении того впечатления живой старины, которое мы получим от безыскусственного пения олонецкого крестьянина».

В том же году Ивана Трофимовича приглашают с пением былин и духовных стихов в Болгарию, Сербию, Словакию и Австро-Венгрию. Он дал согласие на эту длительную и непростую поездку. Можно себе представить, сколько дум и сомнений одолевали его, пока он принял окончательное решение. К тому времени сыновья уже подросли, а пасынок, будущий сказитель, восприимчив его былинного слова Иван Герасимович, жил своим хозяйством. Так что Рябинин-старший без особых забот мог надолго оторваться от дома. Так почему бы ему не поглядеть на Европу?

Состоявшаяся поездка до конца дней оставила в его памяти неизгладимый след. К его искусству было проявлено исключительное внимание. Лучшие залы распахнули перед ним двери.

В Вене гарницкий крестьянин выступил в университете и в кружке любителей русского языка, в Софии — в Обществе славянской письменности, в нынешнем Пловдиве — в зале гимназии более чем на 400 мест, который, по воспоминаниям Виноградова, был переполнен. Петро-заводский учитель за несколько лет до этого сопровождал по городам России Ирину Федосову. Думаю, не грех лишний раз вспомнить его подвижничество, благодаря которому тысячи и тысячи людей России и зарубежья смогли непосредственно от живых сказителей услышать слово глубокой старины.

Из заметки в газете «Вечерняя пора», издававшейся в Софии, мы знаем, что в Филиппополе Иван Трофимович пропел былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Микула и Вольга», «Добрыня и Змей». А в зале Славянского клуба 2 мая его собралось слушать человек восьмисот. В этой же газете была напечатана его былина «Вольга и Микула». В Белграде, как свидетельствует в своих дорожных записях Виноградов, в Королевском театре сказитель был встречен публикой громкими аплодисментами и приветствиями: «Живью хвала!» Здесь же после выступления он был награжден золотой медалью.

Сербский журнал «Коло» сообщал: «8 мая в 7 часов вечера в Королевском национальном театре состоялось внеочередное открытое заседание Этнографического комитета Сербской королевской академии. Заседание открыл председатель Этнографического общества г. Михайло Вольтрович. Затем секретарь Комитета доктор Александр Белич сделал доклад о русских народных былинах. После чего профессор Виноградов представил известного исполнителя русских былин И. Т. Рябинина, который спел несколько былин: «Илья Муромец», «Вольга и Микула», «Добрыня и Змей». После него г. Видос Жуньич исполнил под гусли две сербские народные песни. На заседании было много интеллигенции».

Примечательно, что русский сказитель выступает вместе со знаменитым сербским гусяром.

В зале Белградской гимназии после Ивана Трофимовича на сцену поднялась ученица второй ступени Даринска Иванович и исполнила былинку «Смерть матери Гоговичей». А директор гимназии Пашич прочел былинку «Морко королевич и Вила».

Представляю, как северный наш баян был удивлен и обрадован: былинное слово так же дорого и соседним славянским народам. А потом дома в праздничном за-

столье или за неспешной работой он рассказывал не раз и не два:

— Деньги что? — пришли-ушли. А подарочки мои да медальки — вот они и будут храниться для моих внуков. И довелось мне увидеть города великие и по красоте своей неопишуемые. Язык не как у нас, но чем-то и на наш смахивает. И былинны тамошние тот же досюльный лад имеют.

Если бы не война! Если бы уцелел рябининский дом в Гарницах! Какой бы музей можно было бы в нем открыть! Даже сама обстановка дома с неповторимой заонежской утварью, предметами интерьера, как и сам тип постройки, имели бы непреходящую ценность!

Мысленно охватывая заграничную поездку Ивана Трофимовича, невольно останавливаешься на дне 20 мая, когда по приезде в Варшаву заонежский сказитель посетил Анжелику Рыбникову — вдову Павла Николаевича. Полька по национальности, она стала женой Рыбникова, когда он был назначен во вновь образованную Калишскую губернию в Польше вице-губернатором. Не странно ли? Недавний политический ссыльный — и вдруг вице-губернатор! Причина тому была. Если говорить в двух словах, то заключалась она примерно в следующем. Учитывая непростую общественно-политическую ситуацию в Польше, русские верховные власти послали туда крупными чиновниками целую группу прогрессивных и либерально настроенных людей... Жаль, самого Рыбникова уже не было в живых и он самолично не смог встретиться со сказителем.

ТРЕТЬЯ БЕСЕДА МАРИИ ФЕДОРОВНЫ С ЛЕНОЙ

Вернулся Иван Трофимович из Европы в 1902 году в Гарницы и больше уж никуда не выезжал. А к нему приезжали многие. О его заграничных выступлениях появлялись публикации и в газетах, и в журналах. У меня

вот тоже сохранилась одна — из болгарской газеты «Мир» от 4 мая 1902 года:

«В лице каждого слушателя были русских можно было прочесть чувство благодарной гордости, что они присутствуют в братской беседе приехавших из Великой России гостей — каждый испытывал наслаждение от ласкающих слух народных русских мелодий. Каждый слушатель проникся сознанием, что такие поездки и встречи должны предприниматься и устраиваться чаще, так как таким путем может упрочиться славянская солидарность».

Дома Иван Трофимович сразу же занялся хозяйством. Помог сыновьям. Привез много разных подарков: кому отрез на сарафан, кому рубаху, а кому гостинец какой. Жене своей, матери Ивана Герасимовича, кофту для праздников и шерстяной полушалок. А потом они перешли к ее невестке Марфе Петровне, и я на ней эти подарки запомнила. Тогда хорошие вещи имели цену и в будние дни не носились.

Меня иногда спрашивали, как часто в домашней обстановке пел былины Иван Трофимович. Я помнить этого не могла. А мама мне рассказывала, что пел он больше по праздникам, когда людей много собиралось, да в те дни, когда ученые люди приезжали специально его слушать и записывать. А для себя и своих близких — нередко вечерами. Коротал время за рукоделием. По постам пел духовные стихи. От всего этого в избе устанавливался торжественный лад. Никто друг на друга не повышал голоса. Дети слушались и почитали старших, а старшие приучали детей жить в мире добра и согласия.

Были и деревенские беседы в тихие вечера с наступлением зимы. В наш дом набивалась молодежь, и тогда Ивана Трофимовича не нужно было упрашивать: былина как бы сама собой польется. Никто из родных, конечно, не знает, как он пел со сцены в больших залах. А дома пел негромко, не напрягая голоса. Но голос, вспоми-

нают, у него был чистый и внятный, словно он сам вслушивался в каждое свое слово.

Оставался он бодрым и всюду успевал до самой смерти. Всем казалось, что жить он будет долго, как и его отец Трофим Григорьевич. И хоть они с Анастасией Петровной отделились от сыновей, он продолжал о них заботиться, наставлял их. А они почитали его как главу семейства. К тому же сыновья знали, что он будет им завещать не только хозяйство и имущество, но и деньги, и почитали его вдвойне. Однажды он сам об этом как-то заговорил, когда прихворнул и думал, что уже не встанет. Но вскоре выздоровел. Однако болезнь обманчиво притаилась, чтобы при случае снова навестить к нему.

Старший его сын Василий был на шесть, а второй — Павел — на восемь лет моложе Ивана Герасимовича. Есть сведения, что и родные сыновья умели петь некоторые былины, но выдвинулся среди них именно Иван Герасимович. По праздникам после приезда из-за границы Иван Трофимович надевал на шею медаль с лентой «За услуги крале́му двору». Остальные медали (их у него было несколько) лежали вместе с памятными подарками. А эта награда была ему вручена 10 мая 1902 года на торжественном вечере в Малом Королевском дворце в Белграде на приеме у короля Александра. Присутствовали члены правительства, ученые, дипломаты, составители уложений.

В лето 1909 года Иван Трофимович заболел и слег. Иван Герасимович в то время уже бурлачил в Петрограде. Он узнал о тяжелой болезни отчима и приехал домой. С матерью, как я уже говорила, случилось тихое помешательство. Осенью того же года Ивана Трофимовича не стало. После его смерти мать порой не узнавала даже родных и близких людей. Обиженный своими братьями (они не поделились с ним завещанными отцом деньгами), он не стал заводить раздоры. Забрал мать и возложил на себя все расходы по похоронам отца. Он хотел

похоронить его рядом со своим родным отцом Герасимом. Но священник не разрешил. По его убеждению, старовер не мог покоиться около представителя святого андреевского рода. Кладбище это, теперь уже во многом утраченное, находится у Никольской церкви в Сенной Губе. Однако обидеть уважаемого прихожанина священнику тоже было нежелательно. И он предложил похоронить Ивана Трофимовича рядом с могилой Семена Костина, сподвижника Клима Соболева по Кижскому восстанию. Оба они, Иван Трофимович и Семен Костин, были родом из Кижей. Это ему казалось достаточным основанием, поскольку предки Ивана Трофимовича тоже принимали участие в кижских событиях. Кроме того, кижане в масленицу отдавали почести Семену Костину, поэтому добрым словом заодно будут вспоминать, как предполагал священник, и Ивана Трофимовича. На этом месте он и был похоронен. Теперь рядом с невысокой оградой стоит гранитный памятный знак с указанием дат жизни Ивана Трофимовича.

АВТОРСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

В том же году Иван Герасимович снова уехал в Питер. Первые два года, как утверждают родственники, он провел в лавке у какого-то купца, выходца из Заонежья. В исследовательской литературе об этом ничего не сказано. Событие, впрочем, не столь уж и значительное. Тем более что пением былин в общественном смысле Иван Герасимович не занимался.

Но вот, к примеру, что писал В. Г. Базанов в книге «Поэзия русского Севера»: «900-е годы Иван Герасимович жил в Петербурге и около восьми лет работал на Обуховском заводе. Во время империалистической войны он был взят на фронт».

А другой видный исследователь, К. В. Чистов, в книге «Русские сказители Севера» отмечает: «Удивительно, что Иван Герасимович много лет прожил под самим Петербургом, однако так и не встретился с петербургскими фольклористами. Десять лет он был рабочим Ижорского завода в Колпино (в 1896—1899 и в 1906—1914 гг.)».

Или вот еще что утверждает в своей заметке А. М. Астахова, редактор сборника былин Ивана Герасимовича Рябинина-Андреева, вышедшего в Петрозаводске в 1948 году: «Больше восьми лет непосредственно перед империалистической войной работал Иван Герасимович под Петербургом на Колпинском заводе. А между тем никто в Петербурге не знал о нем, никто не интересовался потомком и преемником известного сказителя 1900-х годов, хотя имя Ивана Герасимовича еще в 1884 году упоминалось в литературе, как очевидного, бесспорного продолжателя знаменитой традиции».

Во всем этом есть некоторое противоречие. Обуховский и Ижорский заводы — разные предприятия. Родственники тоже считают, что Иван Герасимович работал на обоих. Вначале на Ижорском в Колпино, а во второй период своей городской жизни (с 1906 по 1914 г.) — на Обуховском заводе. К сожалению, никакой строго выверенной научной биографии сказителя не осталось, лишь различные разрозненные факты. И то, что рассказывает Мария Федоровна, представляет интерес не только для любителей и исследователей устного народного творчества.

ЧЕТВЕРТАЯ БЕСЕДА МАРИИ ФЕДОРОВНЫ С ЛЕНОЙ

Когда подросток Степан, старший сын Ивана Герасимовича, и ему можно было доверить хозяйство, отец по примеру многих земляков выехал в Питер на заработки. Была раньше у нас такая поговорка: «Питер все бока повытер». Смысл ее Иван Герасимович испытал

на себе. Почему он решил поначалу пристроиться у купца, а не на заводе? Тут крестьянский расчет. С купцом легче было договориться, чтобы дважды в году по месяцу выезжать в деревню на весенне-полевые работы и на уборку урожая. Дождавшись, чтобы подросли и другие его дети и Степан стал в доме за хозяина, он от купца ушел, поселился в Колпино. Там уже несколько лет жила его старшая сестра Татьяна Герасимовна с мужем по фамилии Оятев. В молодые годы он нанялся в город побурлачить да так здесь и остался. Приехал в отпуск, познакомился с Татьяной в Кижках на деревенской беседе с играми. Родом был из соседней деревни Оятевщина. Уговорил ее, и в город уехали вместе. Так вот она оказалась в Колпино. Муж работал на Ижорском заводе. Наверно, он и помог шурина поступить на производство.

О заводской жизни Ивана Герасимовича в Колпино я ничего не запомнила. Может, и разговоров о том не вели. Но от своей матери Ольги Ивановны не раз доводилось слышать о его жизни у купца Кулагина. Тот владел на Охте лесоперевалочной биржей. Город Ивана Герасимовича к развлечениям не приучил. Сказалась крестьянская закалка, любовь к былинам, которую он сохранил. Да и по природе он был человеком степенным, неподатливым на легкие забавы. Кулагины к тому же были людьми набожными, хоть это и не мешало им обманывать клиентов. К их религиозности Ивану Герасимовичу и не нужно было принаравливаться. Правда, он не отличался особым пристрастием к обрядам, постам и молитвам, но знал их хорошо. Более того, пел все духовные стихи, перенятые от отчима. И не очень-то задумывался над тем, какого они толка — истинно православного или старообрядческого.

Поселился он с несколькими такими же мастеровыми на людской половине при своем довольствии, получая пусть и скромное, зато твердое жалованье. Было ему в ту пору лет двадцать шесть.

Вечером у хозяйки — Евлампии Гавриловны нередко собирались гости — мелкие чиновники и купцы с женами. Пили чай из медного пузатого самовара, держа на широко растопыренных пальцах расписные блюдца; ели золотистые крендели от Филиппова. Иногда в таких чаепитиях принимал участие и Иван Герасимович. Хозяйка стала приглашать его к столу, когда прознала, что он поет духовные стихи и старинные песни. К былинам она была равнодушна. Он пел, не отказываясь. Душа сказителя искала выход слову, возможности самовыражения.

После раздела между братьями растущей семье Ивана Герасимовича клочка земли не хватало, чтобы вести хозяйство прибыльно, с достатком. Живая копейка требовалась и без того, а тут латать домашние прорехи приходилось за счет сбереженного рубля. Отхожим промыслом занималась значительная часть мастерового населения Заонежья. Чтобы заработать деньги на самые необходимые хозяйственные нужды, пришлось податься в Питер и Ивану Герасимовичу. В первые годы после женитьбы, пока на руках была одна дочь Поля да Иван Трофимович помогал, жить еще было можно. А потом родился Степан. Иван Трофимович начал прихварывать. Один за другим стали рождаться другие дети. Третьей появилась на свет моя мать Ольга Ивановна. За ней Петр, будущий советский сказитель-орденоносец, твой дедушка... Всего же у Ивана Герасимовича и у Марфы Петровны было шестеро детей. Вот и подумай, легко ли было управляться с такой семьей без дополнительного заработка.

А что касается их личных отношений с Марфой Петровной, то тут мне судить трудно. По-видимому, она была своеобразной женщиной с нелегким характером, и дальше это мы увидим. Перед соседями выказывала гордость, особенно перед теми, кто был беднее. Но мужа она, конечно, любила. Да и как можно было не любить такого человека, как Иван Герасимович! Выдержанный, степен-

ный, собой пригожий, мастеровитый в каждом деле. Уж о пении былин и не говорю. Шестерых родили. А без любви да согласия дети не рождаются. И в Питер он уезжал, жил там подолгу, чтобы семья нужды не знала. Значит, о детях думал, не о себе.

Вот насчет того, почему он не выступал в городе, сказать не могу. Согласился же он на поездку в Петроград уже из деревни в 1921 году. (И до этого мы еще дойдем.) Так почему бы ему не выступить в свои молодые годы?! И голос тогда был чище, и память крепче. Видно, идти на поклон к ученым людям не захотел, поскромничал, а они не знали, что такой сказитель, да еще потомок Рябининых, живет прямо в городе. Досада какая! Ведь и судьба могла бы по-иному повернуться. Этим вопросом уже после его смерти задавались и фольклористы, но они многое напутали. Об Иване Герасимовиче да и об Иване Трофимовиче тоже записывали со слов Марфы Петровны. А она была неграмотна, уже со слабой памятью и ошибалась. Так, в одной книжке сказано, что Иван Трофимович пришел в андреевский дом, когда пасынку было два года. Неверно. Было ему значительно больше. В нашей семье принято считать, что Ивану Герасимовичу было в ту пору никак не меньше 8—10 лет. Как могла произойти такая ошибка? И родился Иван Герасимович не в 1873 году, как теперь записано во всех энциклопедиях, а в 1870-м. Тогда так оно и будет, что на 23-м году он женился, а потом через три года подался в город.

Неправильно указывают некоторые исследователи год кончины Ивана Трофимовича: 1910-й. Но, кажется, истина теперь полностью восстановлена, и на памятном знаке уже стоит правильная дата: 1909 год. Об этом я в своей переписке напоминала.

Осенью 1909 года Иван Герасимович в очередной раз посетил деревню. Ивана Трофимовича он застал в живых, но совсем плохого. И обратно не поехал, как предполагал, после завершения неотложных дел, а остался, чтобы

облегчить последние дни отчима, поддержать страдающую мать. Вернулся он в Петербург только к следующей весне и устроился на Обуховский завод слесарем. Завод выполнял военные заказы, а с началом первой мировой войны полностью перешел на военную продукцию.

На фронт Ивана Герасимовича призвали с завода. Служил он ровно год. Успел повоевать. Полной мерой познал тяжесть окопной правды. Летом 1915-го ему довелось принять участие в Галицком сражении. Здесь он встретил своего земляка из Петрозаводска Матвея Политова. Матвей однажды в затишье между боями незаметно сунул Ивану Герасимовичу листовку под лозунгом «Долой войну! Долой царское самодержавие!» И по секрету сообщил, что год назад вступил в большевистскую партию. Листовка была самодельная, написанная от руки крупными буквами, и Иван Герасимович, выучившийся самоучкой немного читать и писать среди грамотных рабочих, листовку эту читал долго и молча, оглядываясь по сторонам. Вернул ее Матвею, только и выговорив: «Да, дела...» Видеть живого большевика ему еще не приходилось. А он оказался таким же братом-окопником, к тому же земляком. О многом они тогда поговорили.

Иван Герасимович в окопах да в сырости простыл и стал покашливать. На это обратил внимание при встрече Матвей Политов и посоветовал ему: «Тебе, Иван, к фельдшеру надо сходить. А то чего доброго сляжешь».

Иван Герасимович поначалу не придавал значения своему недомоганию. Думал, пройдет все. Вот бы попариться, как бывало, в баньке с крутым паром да березовым венником. Но бани рядом не было, а простуда не выходила. Фельдшер тем временем по просьбе Матвея Политова сам нашел Ивана Герасимовича и поместил его в лазарет. Фельдшер этот, как потом вспоминал мой дед, был на должности полкового врача, и его заключение имело силу. Он подолгу беседовал с новым пациентом, был человеком любознательным, много читал и рассказывал, что

сам видел в жизни. А когда узнал, что тот пасынок Ивана Трофимовича Рябинина и что знает былины и может их петь не хуже отца, тут и вовсе проникся к нему особым расположением. Выяснилось, что, будучи студентом медицинского факультета (он ушел на фронт с четвертого курса), не раз слушал Ивана Трофимовича и вместе с другими горячо ему аплодировал.

В общем, недоучившийся доктор быстро поставил Ивана Герасимовича на ноги и посоветовал ему беречься, не простужаться, потому что легкие у него слабые и любая очередная вспышка после простуды может вызвать серьезное осложнение. А как уберешься в условиях фронта? Фельдшер решил добиться комиссования своего подопечного. Процедура эта была сложной, и часть сложностей он взял на себя. Доложил командиру полка, не забыв напомнить о том, что заболевший солдат — сын известного сказителя и сам как сказитель достойно продолжает традицию рода. Подействовали ли последние доводы или что иное сыграло роль, только нужные бумаги было оформлены, все справки и документы выправлены, и осенью 1916 года Иван Герасимович явился в родные Гарницы. И вовремя. Грудь побаливала.

Прибытию отца-кормильца и мужа-скитальца дома несказанно обрадовались. Дети подросли. Хозяйство, как сразу заметил Иван Герасимович, ничуть не захирело. Степан возмужал и стал выше ростом, почти сравнялся с отцом; прорезался мужской басок, и за ужином он рассудительно рассказывал, что сделано и какие заботы надвигаются.

Иван Герасимович продолжал покашливать. О советах и наставлениях сердобольного фельдшера он помнил, но выполнял их не всегда. Как и прежде, от хворей лечился крутым жаром баньки, которая способна побороть все недуги. Хорошая, здоровая пища — тоже не последнее лекарство. И хотя война подмела основательно крестьян-

ские сусеки, в доме Андреевых нужды особой не знали. В нем и теперь было что попить-поесть. Тем более что приехал Иван Герасимович в сентябре, когда убирали урожай, копали свежую картошку; еще ловилась рыба, и две коровы давали достаточно молока и масла. В посты под неусыпным оком Марфы Петровны семья ничего скоромного не ела. Но для мужа, чтобы он скорее выздоровел, она пост отменила.

По вечерам, когда семья, утомленная дневными трудами, крепко засыпала, она по нескольку часов стояла на коленях перед иконой Казанской Божьей Матери и замаливала свои грехи, которые, по ее мнению, есть у каждого, и грехи мужа, исстрадавшегося на чужой стороне. А накануне престольного праздника, встретив у входа в церковь священника Ржановского, поведала ему, как нарушала заветы поста. Священник был человеком умным, начитанным и к некоторым церковным догмам относился философски. Он понимающе улыбнулся и сказал Марфе Петровне: «Молись, матушка, молись. Бог в своей милости не откажет. Пусть Иван Герасимович поправляется на радость всем и самому господу Богу».

Марфа Петровна вернулась домой совершенно успокоенная. Ржановский к тому же посоветовал ей достать барсучьего жиру, смешать его с медом и по столовой ложке этого снадобья давать Ивану Герасимовичу перед едой. И мед, и барсучий жир еще нужно было достать. Но не тот был характер у Марфы Петровны, чтобы отступать, если она что задумала. Упрямство это иногда доставляло родным и неприятности. Так, она во что бы то ни стало хотела дочь Ольгу отдать в монастырь. Да тут выручил мой отец Федор, который тогда еще и женихом-то не был...

Иван Герасимович начал поправляться. К Рождеству он уж и совсем был здоров, ни на что не жаловался и работал с утра до вечера, истосковавшись по земле, по

хозяйству. А в тихие беседные часы дети просили отца рассказать о фронте, о войне. Но Иван Герасимович становился скупым на слово. Все, что с ним происходило, вспоминалось дурным сном. И незаметно он переводил разговор на другое. Лишь однажды поделился воспоминаниями. Ехал в теплушке после демобилизации в сторону дома. Мелькали бесконечные станции и полустанки, разоренные нуждой и боями. В вагоне он услышал грустную песню. Были в ней такие слова:

Знаю, ворон, твой обычай —
Ты сейчас от мертвых тел
И с кровавою добычей
К нам в деревню прилетел.
Где же ты летал по свету,
Где, таясь над мертвецом,
Ты похитил руку эту,
Руку белую с кольцом?
Расскажу тебе, невеста,
Не таясь перед тобой:
За морями есть то место,
Где кипел кровавый бой...

Ну, конечно, раза два он в атаку ходил на германца, стрелял, как учили командиры, а попал в кого или нет, того сам не ведал. Стреляли и в него, да вот молитвами родных остался невредим. В первой атаке, когда брали никому не нужную высоту, две пули его достали. Одна продырявила полу шинели, а вторая по ноге чиркнула, только чуть кожу прижгла. Не хотел, но как-то само собой получилось, что пришлось рассказать про случай, как на глазах убило его товарища Григория Урисова из Лодейного Поля. Рядом спали, нередко из одного котелка суп хлебали. Рассказывали друг другу о семьях, мечтали поскорее домой вернуться. Вот он вернулся. А Григорий там остался лежать, в далекой Галиции. Полоснул из-за бугра пулемет, и его наповал. А Иван Герасимович двигался чуть левее, по низине. Шло наступление. Затем

снова отступали. Так что некогда было хоронить убитых и даже спасти тяжелораненых. Потом окопались. Выбрали позицию поудобнее. Но удержать все равно сил не хватило. Враг получил подкрепление, выбил их, и пришлось им отступать еще целую неделю. Лощина протяженностью в несколько километров была усеяна трупами своих и вражеских солдат. Для зловещих воронов воин любой державы, лежащий на поле брани, становился желанной добычей.

Песня о вороне напомнила Ивану Герасимовичу в тот миг и о своем настоящем ратном поле, и о том, как славный богатырь Илья Муромец со дружиной храброй сражался против ненавистного царя Кáлины:

...Подъезжал он ко рать силе великойей.

Он просил тут себе Бога на помощь,

Да-й пречистую святую Богородицу.

Препускал коня он богатырского

На етую рать-силу великую.

А он стал как силы с крайчика потапывать,

Как куда проедет — падет улицы...

Эту былинку спел тогда Иван Герасимович солдатам в теплушке, когда уже были перепеты все песни и рассказаны все истории. Как его слушали? Об этом он воспоминаний не оставил. Ну раз пел, значит, слушали.

Свежий озерный воздух, посильная работа и хорошее питание быстро восстановили здоровье Ивана Герасимовича. Марфа Петровна радовалась: муж дома, дети живы-здоровы, сыты, одеты-обуты. Чего еще желать лучшего? Степан заканчивал местную трехклассную школу, помогал отцу. Петр только что пошел в школу. И все же Иван Герасимович решил вернуться в Петроград. И не куда-нибудь, а именно на Обуховский завод, где остались многие его хорошие друзья.

Там он работал до окончательного возвращения домой — до сентября 1917 года.

АВТОРСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

По сведениям, крупными рассыпанным в печати, по рассказам родственников и старожилов в Сенной Губе и по некоторым личным исследованиям мне удалось, как я думаю, проследить отдельные эпизоды жизни Ивана Герасимовича в период его работы на Обуховском заводе.

В то воскресное утро Иван Герасимович проснулся рано. В бараке было еще тихо, все отсыпались после трудовой недели. Ютились здесь в большинстве своем люди не семейные или вынужденно оторвавшиеся от семей ради заработка, как Иван Герасимович и его сосед Степан Периляйнен из чухонской деревни Рохма. Но можно было встретить в бараках и семейных. Они выгораживали из старых одеял и рогож углы, чтобы создать подобие изолированного жилья. У холостых же иной раз вообще не было своего места. Отстояв смену, одинокий рабочий, только приспособившийся к городу, не особенно и претендовал на удобство: было бы чем поужинать, да нашлась бы свободная койка — в очередь с товарищем.

После простора домашних покоев и деревенского стола с простой, но здоровой пищей Ивану Герасимовичу трудно было привыкать вновь к барачному существованию. Одно утешало, что это временно. И он уже начинал поругивать себя за необдуманный порыв, решая, что вот заработает денег и к осени, к уборке урожая, уедет домой и больше в город не вернется.

Завод продолжал выполнять военные заказы, и потому заработки были получше, чем на соседних предприятиях. Но и тут положение рабочих заметно ухудшалось. Война по всем признакам приближалась к концу, выгодных заказов стало поступать меньше. Оборудование изнашивалось, доживало свой век. Ждать перемен к лучшему не приходилось. И, не ожидая намеченного срока, ему

хотелось все бросить — адовый гул машин, копать и неуют жилого угла. Все чаще снился родной берег, где даже сам шум онежских волн утешает душу, где нет копоти, кроме печной сажи, и вместо крапин машинного масла, пропитавших фабричную спецовку, повсюду чистая роса на траве да ясное небо над нею. И русская печь, занимающая чуть ли не треть избы, кормилица семьи и хранительница домашнего тепла...

Один раз с земляком-попутчиком Иван Герасимович послал домой немного денег. Остальное приберегал, чтобы привезти с собой, и на всем экономил. Но теперь ему уже недолго осталось тянуть лямку. Не нашел заонежский сказитель в столице той полноты радости и городского благополучия, к которым стремился в молодости. Однако надо было пройти все это — и послушание в купеческом доме, и первый ученический этап на заводе, и фронтовые испытания, и безрадостные, тягучие, изнурительные заводские будни,— чтобы наконец понять, что настоящее счастье и радость в жизни можно получить и полной мерой измерить лишь на родной земле.

Не нашел он здесь и настоящих друзей. Люди были разные, ни перед кем ему не хотелось раскрывать душу. С одним человеком он сошелся по-приятельски, хотя тот не очень внятно говорил по-русски,— со Степаном Перилляйненем, вдумчивым и неторопливым как в деле, так и в слове. На заводе он уже провел два года. Примерно раз в месяц ездил навещать семью, оставлял ей часть заработка. Привозил обратно в холщовой сумке аккуратно уложенные пироги, небольшой кругляш масла, пару чистого белья, свежее полотенце, выстиранную спецовку. Разбирая сумку, вздыхал:

— Вот и еще месяц прошла. Скорей пы уж софсем тамой.

Он настойчиво угощал Ивана Герасимовича, они ели домашние пироги, запивали молоком. Рассказывал, как

живет. Две коровы в хозяйстве. Лошаденка. Как же без нее? И это все богатство, не считая детей. Но если он через год не вернется, одну корову придется продать. От лошади — отказаться...

Одинаковые заботы привели их на завод, те же тревоги томили их, и им легко было понять друг друга, если даже Иван Герасимович не все мог понять из того, что с сильным акцентом говорил Степан.

Был ли выходной день, выпадали ли свободные вечера — Иван Герасимович даром время не тратил. В город его не тянуло (насмотрелся на белый свет), и покупок он лишних себе не позволял. На досуге, как и отец, постоянно вязал сети, благо у него все было под руками. Такая работа сосредоточивала внимание и отвлекала от тревожных дум, от суеты повседневной. Она как бы включала его в круг давних крестьянских привычек. За этим занятием он нередко пел былины. Поначалу стеснялся, напевал вполголоса. Товарищам нравилось, и, незаметно общившись к слушанию, они уже сами просили:

— Что-то давненько ты, Иван Герасимович, былину не пел про Илью Муромца. Спой-ко нам.

Илья Муромец был любимым сказочным героем, и одно его имя притягивало интерес людей. Сказитель не любил, чтобы его упрашивали, и негромко запевал:

Как Владимир князь да стольне-киевски
С Ильей Муромцем да-й порассорился,
Порассорился с козакон Ильей Муромцем,
Засадил козакон Илью Муромца
А на тыя ль на погребы глубокии,
А на тыя ль на ледники холодныи,
А за тыя ль за решетки за железныи,
А на тыя ль на казени смертныи...

Как-то, когда Иван Герасимович закончил петь, Степан Периляйнен, помолчав, спросил его:

— Что за песня у тебя русная?

— Былина это, Степан. У нас в роду былины все

пели, вот и я пою теперь. И сын мой младший Петр тоже начинает в этом деле хехтать.

— Ну пой, пой, а я слушать путу.

Но тут в беседу вмешался рабочий из питерских. Жил он недалеко от завода с семьей в полуподвале старого дома. Заглянул в барак к нужному человеку, да того на месте не оказалось, и стал невольным слушателем былины. Работал он в модельном цехе. Но кроме того, что звали его Григорием Павловичем, заонежский сказитель о нем более ничего не знал. Неожиданный гость вошел в разговор с ходу, уверенно и непринужденно:

— Так вот я и говорю, что «за тыя за решетки за железный», посадили наших лучших товарищей о девятьсот девятом годе. Рабочие нашего цеха, а потом их поддержал и весь завод, вступили в жестокую схватку с полицией. А до этого мы маевку проводили. Речи произносили, заработка лучшего добивались да чтобы смены сократили, чтобы они имели рамки человеческие. И сами себя мы чувствовали бы людьми, а не скотиной какой. Да мало ли чего хотели добиться. Не удалось. Двадцать шесть рабочих, кто не захотел молчать, были уволены. Но борьба еще не кончилась. Мы это так не оставили.

— И что было после? — спросил Иван Герасимович.

— А вот что было. Выступили мы все дружно с протестом перед хозяевами и заявили, что не начнем работу, пока наши товарищи не возвратятся на свои места. Ну, как водится, была вызвана полиция. Мы стали обороняться. Устроили баррикады. Полиция и приданная ей в подкрепление рота солдат открыли огонь. Потому это восстание и получило название Обуховской обороны. Они нас свинцом поливают, а мы в них — каменья бросаем. Другого оружия не было. Силы явно не равные. Восемьсот человек из наших было арестовано. Из Петербурга всех их выслали, чтобы не сеяли смуту. А около тридцати самых

активных отправили на каторгу. Думали, дрогнет рабочий класс и движение его будет остановлено. Как бы не так. Скоро мы за все рассчитаемся... Так вот, завтра демонстрация большая намечается. Правда, многие считают, что для решительного выступления еще пора не настала. Но разве людей удержишь? Все в них кипит, из души горе выплескивается. Но договорено, что выступление на сей раз будет мирным. Пусть министры Керенского на нашу силу посмотрят.

— А кто эти фаши, что все саране знают? — спросил Степан.

— Ну наши, это те, кому власть скоро потребуется. Без власти справедливости не добиться. Так что и вы приходите. Тоже за свою правду бороться будете. А уедете в деревню, сами власть начнете устанавливать и внукам рассказывать, что видели.

Демонстрация зарождалась в Выборгском районе. Возникла она стихийно, охватывала все новые и новые районы и рабочие кварталы но организованный характер принять не могла и была разогнана. Рабочие получили еще один хороший урок истории: власть без решительного вооруженного выступления им никто не отдаст.

В то воскресное утро Иван Герасимович проснулся рано. В бараке было тихо. Кто встал и ушел, а кто и вовсе никуда не собирался. Через тонкую перегородку он услышал голос Степана Периляйнена:

— С топрым утром, Ифан. Пойдем, что ли, в хорот? Путем смотреть, как пуршуи забегают. Тело к тому итет. Софсем худо им стало. И мы с топой в терефне скоро по-нофому зашифем.

Степан зажег коротенькую трубку и вышел за порог, ожидая, пока Иван его догонит.

Иван Герасимович нагнал приятеля уже за поворотом дороги. С вечера он еще не мог сказать, пойдет ли на

эту демонстрацию, но утром добродушно-ворчливый голос Степана развеял его сомнения.

Стали присматриваться, куда направиться и стоит ли искать своих. На Большом Сампсониевском проспекте выстроились ряды казаков и полицейских. У Гостиного двора по всей ширине улицы просматривалась цепь солдат с винтовками в руках. Неожиданно раздалась команда: «Пли!» Видно, с противоположной стороны напирала толпа демонстрантов. Грянул холостой залп. Затем началась беспорядочная стрельба. Улица постепенно опустела. На серой полосе обочины остались лежать убитые и раненые.

Среди солдат произошло замешательство. В отдельных ротах чувствовалась чья-то организующая воля, сочувствие демонстрантам. Когда толпа рабочих стала подходить к клинике Виллие, навстречу им вышла группа солдат с винтовками.

— Товарищи,— кричали они,— вот идет и наша рота!

Солдат не спрашивали, кто они и какой части. Их встретили с радостью. Это была рота Волынского полка, которая в свое время восстала против самодержавия, а теперь активно поддерживала большевиков.

Иван Герасимович почувствовал, что его кто-то тронул за плечо. Обернулся и увидел перед собой знакомое лицо, но сразу этого человека признать не мог. Тот улыбнулся, показав два кривых передних зуба. «Да это ж Матвей Политов из Петрозаводска!» — мигом сообразил он. Сколько же они не виделись? Да с тех самых пор, как его, заболевшего, отправили из Галиции долечиваться домой... Вот так встреча! Напиши в деревню — не поверят.

— Ты ли это, Матвей?! Исхудал-то. В гроб краше кладут.

— Я, Иван. И признал тебя сразу, хоть и тужурку новую напялил. А выглядишь ты лучше, знать, мирная

жизнь на пользу пошла. Вот и хорошо. Работаешь здесь? Туго, поди, стало в деревне с семьей-то? Иначе какой же чужак от своего подворья да родных уедет. И не отвечай, все по твоему лицу вижу. А я тифом болел. Уж думал, что и не встать больше. Валялся в лазарете неделю без сознания. А вот выкарабкался. Живучий я.

— Домой-то не отпускают?

— Надеюсь, скоро отпустят. Кому нужна эта война, сам посуди? Закончим ее, сдадим оружие и разъедемся по домам жизнь по-новому устроить.

— Когда все это еще будет? — не очень доверчиво переспросил Иван Герасимович.

— Скоро, Иван, скоро. Советую и тебе возвращаться. События надвигаются такие, что и в деревне станет жарко. А ты и пороху на фронте понюхал, и заводскую жизнь познал. Сам-то и без подсказки разберешься, куда поворачивать надо.

— Я ведь в городе не бываю, на митинги не хожу. Уеду вот в Гарницы. Дом свой поправлю, ловушки почию, буду хозяйством заниматься. Не мое дело в политику лезть.

— Это ты зря, Иван. Спокойно на отшибе не отсидишься, попомни мое слово. Даст Бог, увидимся на родной земле, поговорим.

— Может, ты и прав, Матвей. Если и в деревне потребуется моя помощь в чем, так не останусь же в стороне. Да только когда еще все будет...

— Не за горами то время. Возьмем власть и никому не уступим.

— Так ты большевик, Матвей? Я так и подумал тогда, как ты листовку мне дал почитать и все рассказал.

— С пятнадцатого года. Весь наш полк ныне большевикам сочувствует. В полковом комитете из семи человек пятеро большевиков.— Им пришлось прибавить шагу, подразделение Матвея Политова заметно удалялось.—

Ты тут, Иван, не задерживайся, поскорее в деревню возвращайся. Если что, через полгодика меня в Петрозаводске разыщешь. Еще чем и пригожусь. Ну ладно, я пошел своих догонять...

Иван Герасимович огляделся. Со Степаном Периляй-неном они разошлись неожиданно. Тот стоял у ограды на пересечении улиц, как вдруг появилась колонна демонстрантов, подхватила его и понесла с собой.

Поразмышляв несколько минут, Иван Герасимович двинулся вместе с народом в сторону Гостиного двора. Солдат там уже не было. Куда и зачем идет толпа, он не знал. Оставаться одному не хотелось. В барак возвращаться было рано. Внезапно им наперерез из-за угла соседнего дома выехали казаки с нагайками. Встреча не предвещала ничего хорошего. В руках у людей, кроме лозунгов, другого оружия не имелось. Но они не остановились и продолжали движение. Вот уже первая лошадь врзалась в людскую массу. За ней вторая, третья... Завистели нагайки. Раздались крики боли и возмущения. Для карателей это не прошло безнаказанно. Кого-то из них выдернули из седла, кого-то огрели увесистой рейкой... И все же передние ряды дрогнули, их реакция передалась задним рядам. Они вначале попятились, а потом стали разворачиваться и таять.

Иван Герасимович оказался не то чтобы в центре событий, но и по его спине с посвистом скользнула нагайка, и он почувствовал легкое жжение. И когда красномордый казак с отвислыми усами — это он успел хорошо рассмотреть — замахнулся для нового удара, Иван Герасимович сумел изловчиться и вырвать у него ненавистную нагайку.

В свой опостылевший барак он в тот вечер против обыкновения вернулся поздно: после пережитых волнений бродил по тихой окраине и размышлял, как жить дальше, что делать. Из предосторожности он не сказал товарищам, где был и в какой переплет невольно попал. Только

Степану Периляйнену коротко поведал о случившемся, показал нагайку:

— Привезу в деревню. Пусть дети увидят, как отец не растерялся и казака обезоружил.— Спина побаливала, словно что-то припекло ее.— Посмотри, что там? — попросил он Степана, подняв до плеча рубаху на левом боку.

— Та тут такой рупец, что и то тома не пройдет.

Рубец действительно был замечен еще долго.

...В Гарницы Иван Герасимович приехал лишь через год. В Петрограде он больше работать не собирался. Навдигалась осень, а с ней и крестьянские хлопоты. Сыновья с хозяйством управлялись, но все-таки в доме не ощущалось твердой, направляющей руки.

Умер смотритель Гарницкого маяка, старик из соседней деревни Косельга. Ерофеев, тогдашний председатель местного Совета, предложил должность Ивану Герасимовичу. Тот даже и раздумывать не стал. Сам втайне мечтал о такой службе. Да и Марфа Петровна упрашивала, чтобы опять в город не подавался. Время, дескать, смутное, всех денег не заработаешь, а детям отец нужен.

Так Иван Герасимович сызнова занялся крестьянским делом и начал исправно нести службу смотрителя, получая жалованье, за которым не надо было ехать в Питер. Тут и хозяйство под приглядом, и от должности почет.

Надо сказать, что Ерофеев давно знал Ивана Герасимовича с самой лучшей стороны. Он тоже пристроился в Питере не то приказчиком, не то нарядчиком, и иногда они по-земляцки виделись, подолгу беседовали. Но в 1916 году многие мелкие предприятия в городе закрылись, торговать стало нечем и Ерофееву пришлось вернуться домой. А тут его, как человека грамотного, избрали в Совет.

Смотрителем Гарницкого маяка Иван Герасимович проработает до своей внезапной кончины, и на этом посту его сменит в 1926 году сын Петр Иванович, который не только будет зажигать фонарь, указывающий путь судам между островами и шхерами Онежского озера, но и озарит новым светом родовую былинную традицию.

ПЯТАЯ БЕСЕДА МАРИИ ФЕДОРОВНЫ

Матушка моя Ольга Ивановна уже в семилетнем возрасте была завещана для пострига в монастырь, но не ранее, как ей исполнится семнадцать лет. Тем более что и монастырь был под боком. А зарок этот Марфа Петровна дала перед всем миром после одного печального случая. Было дело так. Ольга, играя со сверстниками, упала с плота в воду. Ребята подняли крик. К счастью, на берегу оказались взрослые. Девочку быстро вытащили и, как умели, стали откачивать. Она глаза то откроет, то закроет. Вот тут-то Марфа Петровна и поклялась, что, если дочь останется живой, она отдаст ее в монастырь на послушание.

Зарок этот тяготел над моей матерью и над семьей вплоть до закрытия монастыря. А Марфа Петровна, словно предвидя неустойчивость времени, дважды, не дожидаясь совершеннолетия дочери, порывалась свой обет выполнить: в четырнадцать, потом в шестнадцать лет. Но Иван Герасимович отговаривал, убеждал, что рано, пусть подрастет и душой хрупкой окрепнет, и вопреки матери разрешал ей ходить на беседы с играми. Утешал Марфу Петровну, учитывая ее же взгляды: если уж дочери суждено быть в монастырской келье, то она там отмолит все грехи — и свои, и родительские.

Однажды из Сенной Губы пришел в Гарницы на вечеринку мой отец Федор Семенович Дьяков. Работал он тогда при Совете заведующим отделом записи актов

гражданского состояния. Пришел, чтобы ознакомить молодежь с новым декретом Советской власти об отлучении церкви от государства и закрытии монастырей. Читал он медленно, чтоб все слышали и вникали в смысл. А когда закончил чтение, на несколько минут наступила тишина. Вдруг на середину круга выпорхнула молоденькая девушка в нарядном сарафане. Было видно, что она не из бедной семьи. Это и была Ольга. Нет, она не стала плясать, лишь вскинула над головой руки и в неудержимом порыве, тихонько ими всплескивая, радостно проговорила: «Спасибо Советской власти!» На нее зашикали, дескать, мешаешь человеку. Но она продолжала ликовать и даже спела противоцерковные частушки. А Федор Дьяков и не думал останавливать девушку — стоял и любовался ею.

— Чья это? — поинтересовался он.

— Андреевская, — подсказал кто-то негромко. — Мать ее в монастырь собирается сплавить, так, видишь ли, твой указ вроде бы сулит ей свободу. Вот она и радуется.

Узнав, что это дочь Ивана Герасимовича, Федор удивился: надо же, какая выросла! Но не удивился намерению Марфы Петровны. Ее-то он хорошо знал. Дай ей волю, такая многих в монастырь загонит. Для нее если человек безбожник, значит, он уже тем вреден и опасен и на него следует обрушить земные и небесные кары. Не успел толком обо всем подумать, как начались танцы под балалайку. Федор пригласил Ольгу на кадрили, которая длилась добрый час с перерывами, и времени хватило, чтобы познакомиться, поговорить. Девушка была застенчивой. Она впервые так долго танцевала с кавалером, на вопросы отвечала односложно. Но за этой сдержанностью угадывалось ее стремление все понять и осмыслить, главным образом ту новость, ради которой и пришел в Гарницы Федор. Какое-то чувство подсказывало девушке, что их знакомство не случайно. О том же размышлял

и Федор. Когда вечер закончился, он попросил разрешения проводить ее до дома.

Конечно, Марфа Петровна обо всем узнала. Что было на следующий день! Гнев ее, казалось, специально копился для такого повода. Три дня она продержала дочь взаперти и потребовала от нее больше с этим безбожником не встречаться.

Немного позднее Федора избрали в комитет бедноты. Ольгу он несколько месяцев не видел, но нередко о ней вспоминал. Проснулось первое, еще не осознанное чувство и в душе девушки. Она остро пережила столь внезапное освобождение из-под тяготевшего над ней залога матери, радовалась, что сможет жить так же, как ее подруги. Теперь она решила не то чтобы всегда и во всем поступать по своему усмотрению, но и не подчиняться покорно любому материнскому нажиму.

Мать пожаловалась Ивану Герасимовичу и попросила пристрожить дочь, запретить ей ходить на вечеринки, встречаться с Федором, к тому же ставшим комбедовцем. Но Иван Герасимович дочь любил не слепой, а разумной любовью. Жене он сказал, что детям женихов и невест подбирать не будет, с кем они хотят, с теми пусть и дружат.

Ольге в ту пору было шестнадцать лет, Федору Семеновичу — двадцать шесть. Девушке льстило, что такой серьезный, ответственный работник и самостоятельный человек полюбил ее, относится к ней как к равной. Свидания их были нечастыми. Беседы собирались, как правило, по праздникам, а заходить в дом к девушке, пока она не наречена невестой, не полагалось. Кроме того, Федор был не из богатой семьи и смотрел не во вчерашний, а в завтрашний день. Марфа же Петровна жила предрассудками прошлого: чем богаче дом, зажиточнее семья, тем больше ей почет и уважение соседей, и родню заводить следует среди таких же людей.

Без причины из Сенной Губы в Гарницы за пять кило-

метров запросто не приедешь. Самой же девушке тем более не пристало стремиться навстречу кавалеру. Они скучали друг по другу и обменивались письмами. Почтальоном сделали десятилетнюю сестру Федора Анюту. Федор напишет письмо и попросит Анюту отнести его в Гарницы. Та начнет отнекиваться: ей страшно идти через тушевское болото — там «чудится», как уверяют старшие. На развилке дорог на краю болота могила гарницкого пастуха. Он тут много лет пас коров. И однажды, зная не от веселой жизни, тут и повесился. Коровы вернулись в деревню одни. Люди пошли искать пастуха и увидели его на сосне... Место это называется Рокса. (Висельников не полагалось хоронить на общем кладбище.) После этого, видно, и сложилось поверье о том, что в этих местах «чудится». В самом деле, болото во время испарений издавало странные звуки, а рядом еще и скрипела старая осина. Не много нужно было иметь воображения, чтобы дорисовать все остальное. Анютка после длительных уговоров все же соглашалась идти, но с условием, что пойдет другой дорогой — хотя она и была длиннее, зато на открытой местности.

Ольга ее приходу всегда радовалась: девочка приносила ласковые и душевные письма, рассказывала, что происходит в доме Федора и что у него на работе. Марфа Петровна и тут проявляла бдительность, ворчала на дочь: «Ишь выискала себе подружку». Ольга на ее ворчание не обращала внимания и уводила Анюту наверх, в светелку, чтоб об остальном, что не написано в письме, расспросить на словах. Там у нее для Анюты были припасены гостинцы.

Вот такая была тогда в деревне обстановка. Хозяйство у Дьяковых незавидное, что особенно злило Марфу Петровну. Но тут надо упомянуть и о том, что дед мой Семен отслужил на флоте четверть века. Вернулся домой в Пудож. Местным властям проявить бы заботу о защитнике отечества, а ему даже земли не выделили. Семей-

ная-то земля давно была поделена между братьями и дядьями. И направился он с Пудожского берега в Кижигостить у своей сестры Прасковьи, выданной замуж за правнука Семена Костина. Ехал он, а в ушах все еще звенели холодные и равнодушные слова отца: «Ты, сынок, солдат. Тебе ничего не надо. Не отнимать же землю у братьев». Решил он в этой непредвиденной поездке заодно навестить друга Костю Трегубова, жившего в деревне Петры, что рядом с Сенной Губой. Навестил его и рассказал, какие напасти выпали на его долю. И тот надоумил посвататься в Сенной Губе к дочери вдовы Дьяковой. Было Дуне шестнадцать лет. С матерью он сталкивался. В доме нужен был хозяин, иначе пропала бы земля. А согласия дочери мать особенно не спрашивала. По тогдашнему закону Семен принял фамилию жены. Это Евдокия Степановна впоследствии написала три былины, которые ей помог перед войной напечатать Петр Иванович.

Вскоре отец мой стал открыто бывать в андреевском доме. Дело шло к свадьбе. И Марфа Петровна не то чтобы уж совсем смирилась, но открыто возражать перестала. Свадьбу, однако, пришлось отложить. В конце лета 1919 года с северного направления, из Медвежьегорска, стали наступать белые части. Они уже заняли соседнюю Кижскую волость. Работникам Сенногубского комиссариата, едва насчитывавшим десять стволов, вступать в схватку с организованной силой противника было бессмысленно. И они приняли решение об эвакуации. Остров обстреливался. Комиссариат и сельские активисты, прихватив документы, выехали в Петрозаводск. Отступали поспешно. Это уже была вторая эвакуация. Первую предприняли летом, и длилась она недолго.

Глубокой осенью с материка на остров на моторной

лодке была прислана разведка, высадившаяся в Рознаволоке. Среди разведчиков находился и Федор, как человек, хорошо знающий места и людей. Они болотом подошли к Гарницам, залегли за полем. Сумерки еще не наступили, и хорошо было видно, что происходит в деревне. Ничто особых тревог не вызывало. Федору поручили под видом свидания с невестой прийти в андреевский дом и по возможности через Ивана Герасимовича, явно сочувствовавшего новой власти, все разузнать о противнике: какие он имеет силы, где расквартирован, как относится к населению, кто открыто белогвардейцев поддерживает. В сумерках Федор незамеченным проник в дом невесты.

И все же нашлись люди, которых приход Федора насторожил, и они решили, что это все неспроста. Донесли в штаб белых. Иван Герасимович попал под подозрение. Зимой белые развернули террор. С помощью тех, кто доносил на Федора и других активистов, были составлены списки сторонников Советской власти. Двадцать из них подлежали расстрелу. Из Гарниц в список попали двое: бывший милиционер Иван Романович Малинин и Иван Герасимович. Намеченные жертвы жили в разных деревнях, и поэтому в штабе белых сформировали несколько конвоев, которым было дано задание вывести приговоренных на озеро и расстрелять, забросав трупы снегом, чтобы они вместе с ледоходом бесследно исчезли. Как говорится, концы в воду.

В Гарницы был направлен конвой в составе Бабкина и Лузгина. Но старший конвоя Бабкин отказался брать Ивана Герасимовича: слишком у него был большой авторитет и перед народом, и перед церковью. Малинина расстреляли на озере. Другие конвойные тоже приказ полностью не выполнили: кого было велено арестовать — арестовали, ограничившись тем, что привели их в управу. В штабе имя Ивана Герасимовича из списка обреченных вычеркнули, а остальных решили отправить в Кемскую

тьюрму, которая славилась у белых суровым режимом. Оттуда обыкновенно никто не возвращался.

Весной по льду пришли красные. Отыскали тело Ивана Малинина и устроили почетные похороны.

Вскоре состоялась свадьба комиссара Федора Дьякова с Ольгой Андреевой. Это была первая советская свадьба в нашем крае без венчания, по новому обряду. Теперь задним числом можно Марфе Петровне посочувствовать: каково было ей все это пережить? А Иван Герасимович рассудил, что Федор человек самостоятельный и на него можно положиться в самую трудную минуту. Он понимал и то, что время меняется и за такими, как Федор, будущее.

На свадьбе был весь Сенногубский комиссариат. Федор пошел лишь на одну уступку — чтобы тесть благословил молодых иконой и по заведенному обряду затеплил перед ней свечку. Марфа Петровна молча поджимала тонкие капризные губы и внешне старалась казаться равнодушной. Но ей это удавалось плохо. То там, то тут прорывались ее недвусмысленные вздохи и словечки. Подголосицей на свадьбу была приглашена ее родная сестра, тоже, видно, не без умысла. Умелая подголосица обычно направляла ход свадьбы. Не только исполняла ритуальные причитания и песнопения, но нередко и сама пела за действующих лиц свадьбы: за жениха, невесту, ближайших родственников, если они к тому не были готовы. Или помогала им петь, как бы вела пение, подголашивая. Отсюда и название — подголосица. У таких знаменитых воплениц-подголосиц, как Ирина Федосова или Анастасия Богданова, жившая в одно время с Иваном Трофимовичем в соседней деревне Зиновьево, были ученицы, и тогда образовывался хор во главе с самой опытной. Я не знаю, насколько в этом непростом деле была умелой сестра Марфы Петровны, но замысел хозяйки дома и тех, кто был с ней заодно, она воплотила неплохо. Замысел, прямо скажу, коварный. Состоял он в том, чтобы

в самом свадебном причитании были слова, которые бы унизили жениха. И действительно, слова такие нашлись: дом у жениха ветхий, как воронье гнездо, амбар пустой, как щучья голова. Обращаясь к невесте, подголосица запела о ее печальной участи:

Подошли они к тебе тихошенько,
Оплели они тебя скорешенько,
Во юных, в молодых тебя во летушках,
Как ты была все, голубушка, в живности,
Во своем да во прекрасном девичестве,
Была девушка во чести да во славушке.
Добры людюшки тебя да все хвалили,
Называньице тебе было отчимое,
Похвала тебе всегда да позаочная.
Было росту у тебя да и пригожества,
И красы-басы было да всем ужожества...

Не очень завидную долю предрекла тетка Ольге в мужнином дому, и притом, как могла, корила жениха за «бедность и за ветхое хоромное строеньице». Невеста слушала, слушала и упала в обморок. Не выдержал унижения и Федор. Он поднялся, по-военному привычно поправил ремень на гимнастерке и обратился к своим друзьям: «Пойдемте, нам тут, оказывается, делать нечего. Им нужен хороший дом, большое хозяйство. А нам нужна вся наша будущая жизнь». Подголосица притихла, поняла, что хватила через край. Все в смятении замолчали. Но тут вышел из горницы Иван Герасимович и потребовал, чтобы пение вообще прекратили. Невесту ополоснули холодной водой, она быстро пришла в себя. Хозяева и гости понемногу успокоились. Остыла горячность и у Федора. Иван Герасимович занял за столом свое место, поднял широкую граненую рюмку, которую привез еще в первый приезд из Питера:

— За хорошего, достойного человека выдаю дочь замуж и верю ему, как себе. Времечко-то ныне беспокойное. Может, и свадьба не совсем ко времени. Но не

вечно же будет продолжаться эта проклятая заваруха. А им, молодым, жить долго. Так пусть же они будут счастливы!

Слова его всем пришлись по душе, и свадебное застолье вновь наладилось. Когда выпили и закусили, Иван Герасимович, не вставая с места, предложил:

— А теперь послушайте-ко, что я спою для молодых. Им в любви и согласии жить и наживать не только добро, но и уважение людское. А не будет любви да согласия — никакое богатство счастья не принесет. И для вас, дорогие гости, спою эту свадебную былинку:

Проходите вы во горенку столовую,
А садитесь за столики дубовые
Да за ты ль скамеечки окольные,
А поешьте ествушки сахарной
Да-й попейте питьецов медвяных...

Тут удалыя дуродни добры-й молодцы
Выходили с палаты белокаменной,
А на тот на славный на широкий двор,
Расходились по палатам белокаменным,
А по комнатам по богатырским.
А по утрышку вставали они ранешенько,
Умывались-й да белешенько.

Былина была длинная, со всеми подробностями «честного-й да пированьца», рассказывавшая о том, как после свадебного застолья «добрые молодцы в путь-дорогу собирались» и свершали свои подвиги богатырские во имя любви, справедливости и в честь славного рода своего. Гости слушали внимательно. Иван Герасимович был самым видным и талантливым сказителем и пел в эти смутные переломные годы не часто. Он безошибочно вел былинный напев, который ведь у каждой былины чем-то отличался. Он вдохновенно пел еще и потому, что знал: есть кому подхватить заветное слово предков. Сыну его Петру было уже четырнадцать лет, и он уверенно, иногда вместе с отцом, пел отдельные былины.

Иван Герасимович окончательно восстановил свадебное настроение, и гости продолжали веселиться.

АВТОРСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Не успели наладить в уезде мирную жизнь, как осенью 1920 года на побережье Белого моря высадились войска Антанты. Вновь по всему Заонежью активизировались разрозненные группы вооруженных противников новой власти. Враг впрямую угрожал всему заонежскому полуострову со стороны Медвежьегорского тракта. Опять пошла эвакуация работников Совета и комиссариата. И снова тихая лесная деревня Гарницы оказалась в центре непростых событий. В Заонежье сквозь бурю пробивался пароход, чтобы вывезти актив и документы.

За несколько месяцев до того, в один из июльских дней состоялся Всекарельский съезд, который горячо приветствовал декрет Советского правительства о создании Карельской трудовой коммуны. Декрет был опубликован 4 августа 1920 года. Центром автономной Карелии стал Петрозаводск. А уже осенью на Сулажгорских высотах, подступающих к самому городу, шли ожесточенные бои. Но и с этой бедой было быстро покончено, хотя она обрекла отдельных людей и целые уезды на немалые лишения и унесла много человеческих жизней.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАССКАЗА МАРИИ ФЕДОРОВНЫ

Федору Семеновичу позвонили из Великой Губы, чтобы он подготовил к отправке документы и всех, кого следует, предупредил о немедленной эвакуации. Он стал объезжать на лошади деревни и дворы, а съездить в Гарницы, где у отца гостила Ольга, не успел. Передал с попутчиком, чтобы к условленному часу она была на пристани. Но

человек этот, как потом выяснилось, ничего не передал. То ли забыл, то ли по какому умыслу.

Отец погрузил документы, попрощался с товарищами, но к ним не присоединился. Он не мог оставить Ольгу в руках у белых. И на острове с ней оставаться тоже не думал. Был уверен, что вместе с Иваном Герасимовичем найдут способ переправиться на материк. Федор пришел домой, наскоро перекусил; собрал немного еды с собой и наказал младшему брату Павлу следить за всем, что происходит. А сам он пойдет в Гарницы и посмотрит обстановку там. Договорился с братом и о том, что через неделю тот сходит к их стожку в местечке Бельковщина. И если в нем не будет надломлена средняя подпорка, пусть там для них оставит что-нибудь из еды. Значит, они еще не уехали.

Из дома он направился в сторону комиссариата. Затем незаметно свернул в лес, потайными тропами пробрался в Гарницы. За крайними огородами залег в кустах и долго наблюдал за деревней. Подозрительного ничего не обнаружил. Но вдруг увидел, что на балкон вышла Ольга. Она долго смотрела на озеро. Нетрудно было понять, о чем она думает. А когда стало смеркаться, Федор опольем подошел к андреевскому дому. Необычность ситуации заключалась в том, что если раньше, приходя на свидание к невесте, он побаивался лишний раз встретиться с Марфой Петровной, то теперь следовало опасаться недобрых соседей.

Вечером они с Иваном Герасимовичем подробно обсудили план их отъезда с Ольгой. Надо было уехать так, чтобы никто не видел и не мог предположить, куда и на какой лодке. Утром чуть свет Иван Герасимович с Петром начали носить в лодку сети. В этом не было ничего такого, что могло привлечь внимание. Обычно по утрам они выезжали осматривать маячное хозяйство, а заодно некоторые ловушки ставили, другие опохаживали. В отслужившие свой срок сети завернули продукты, все необ-

ходимое для жизни в городе на первых порах. Накануне Иван Герасимович сходил к добрым и надежным соседям Грешниковым, договорился с ними, что выедет на озеро на их лодке. Была она старая, дырявая, и никому в голову не придет, что на ней можно пускаться в плавание по широкому Онегу.

Отец с сыном сели в лодку, когда еще пелена тумана слегка клубилась над озером. Первым делом поплыли к маяку. С берега, если кто за ними наблюдал, можно было разглядеть, как Иван Герасимович поднимался на створы, проверял фонарь, заходил в домик. Потом они снова сели в лодку и принялись просматривать еще со вчерашнего дня поставленные ловушки. Вначале у острова, а далее ближе к Рознаволоку. Ветер был южный, встречный и все крепчал. Двигались они медленно. Следящему за ними, будь такой человек, это занятие вскоре надоело бы. Но вот лодка скрылась за Рознаволоком — там уже поджидал Федор. Втроем они лодку вытащили на берег, опрокинули кверху дном, развели костер, подогрели смолу и тщательно ее проконопатили. Ветер не унимался.

Петр болотом отправился домой. Иван Герасимович велел ему отвечать без запинки, что ходил смотреть сено, коли кто встретится и спросит. А как только стемнеет, вынести в лодку сети и намочить их: недавно, мол, вытасщены из воды.

Тем временем Ольга собрала в узел нехитрые пожитки, что не успели взять при отъезде на озеро. И едва упали сумерки, одетая в дальнюю дорогу, пришла на берег к Рознаволоку. Ночь холодной погоды не предвещала, трава была волглая и сухая. Лодка к ее приходу уже была подготовлена. В нее предварительно влили не одну сотню ведер воды, чтобы испытать на течь и еще раз обработать уязвимые участки. Дорога ожидала нешуточная, предстояло переплыть Онего в самом его широком месте.

Но вот лодка спущена на воду. Течи не видно. Поставили парус. Поветерья не было, но и боковой ветер стал наполнять его. Проверили прочность уключин. Все казалось надежным. Ольгу посадили в носовую часть и привязали к мачте паруса, чтобы при сильной качке, не ровен час, ее не выбросило из лодки. Сам Федор закрепился на корме. Все было готово для отплытия.

Иван Герасимович прослезился при расставании. Он понимал, что и с ними, и с ним в это тревожное время может случиться всякое. Перекрестил и поцеловал дочь, обнял зятя и дал ему последний отцовский наказ беречься самому и беречь жену, которая была на четвертом месяце беременности. (В Петрозаводске мне и суждено было родиться недоношенной, семимесячной. Как отец ни оберегал мать от волнений, они сказались на ее здоровье.)

Иван Герасимович, одетый в короткую тужурку, в которой приехал из Питера, в длинные болотные сапоги, добротнo смазанные дегтем, стал отталкивать лодку от берега. Ему помогал Федор, упираясь веслом в каменистое дно. Лодка сдвинулась и пошла без особой натуги. Иван Герасимович, стоя по колено в воде, долго махал вслед рукой. Затем он перебрался на самый крайчик мыса и развел небольшой костерок. С лодки наверняка можно было различить этот сигнал, чтобы держать правильный курс.

Федор наперекор стихии направлял лодку в сторону Петрозаводска. О чем им тогда думалось с Ольгой? Конечно, перво-наперво была забота, чтобы благополучно добраться до города. Все остальное пока отступало на второй план. Ольга закрывала глаза при круто набегавшей волне и откидывалась назад. Федору казалось, что она была в полубморочном состоянии. И все же, чтобы отогнать от себя гнетущие мысли, она старалась думать о другом, о том времени, когда они смогут жить мирно и счастливо, растить детей. Ведь ради будущего и выносят

они теперь все лишения. Думали оба и о том, как устроятся в городе. Ольга решила, что сначала они останутся у ее старшей сестры. Хоть она и живет в одной комнате, но в тесноте — не в обиде. Свои люди, все уладится. Дальше будет видно. Работу Федор найдет.

Иван Герасимович поддерживал огонек до тех пор, пока, по его предположению, лодка не скрылась за островом. Делать в эти часы ему было нечего, и он, чтобы подбодрить себя и отвлечься от тревоги, вполголоса пел былины, как пел нередко за какой-нибудь неторопкой работой.

За Ивановскими островами, уже ближе к городу, на озере стало понемногу стихать. А вскоре засверкали еще далекие, но такие желанные огоньки. Огонек на воде обманчив. Вроде бы совсем близко, а едешь-едешь, он не приближается. Вот и петрозаводский берег уже почти рядом, но словно уплывал от них незаметно и был по-прежнему недоступен. Каждый метр продвижения давался с трудом, силы были на исходе. Ольга полулежала, откинувшись навзничь. В утреннем рассеивающемся тумане Федор видел ее бледное лицо. Сам он тоже больше молчал, но уверенность, что теперь-то они доберутся благополучно, придавала ему бодрости. Хорошо еще, что парус выручил. На протяжении большей части пути боковой ветер уверенно помогал им. При встречном же — им бы попросту не доехать...

На берегу, недалеко от пристани, горели костры, слышались голоса людей. Их окликнули: кто они и откуда? Федор, как того требовала обстановка, объяснил свой приезд. Лодка коснулась берега, и несколько сильных рук вытащили ее на сушу.

А на другом берегу, в Заонежье, Иван Герасимович только под утро загасил костер и убрал все следы пребывания. Жизнь научила многому, в том числе и осмотрительности, особенно в такое тревожное время, когда

человека и без вины легко могли взять под подозрение, а тут как-никак помог скрыться и уйти от расправы зятю — красному комиссару. И предчувствие надвигающейся опасности его не обмануло. Когда он пришел домой и скинул с себя одежду, пропахшую дымом костра и болотом, в дом ворвались вооруженные белогвардейцы. Первым делом спросили: где скрывается зять? Иван Герасимович твердо ответил, что с тех пор, как началась эвакуация, они его не видели. Спросили: где Ольга? Пришлось сказать, что ушла в Сенную Губу, а оттуда могла уехать с мужем.

Посмотрели: лодка на месте. В лодке мокрые сети. Значит, и верно, выезжали к ловушкам. Допросили невестку — тоже ни о чем не ведала и ни о чем не слышала, целыми днями не выходила из дома. Прочесали болото и наткнулись все же на остатки загашенного костра, где была вытащена для шпаклевки лодка. Около бывшего костра нашли обрывки пакли. Подумали, что тут хозяйничали рыбаки или охотники.

Федора искали по всему острову. Наверняка кто-то донес, что с последним пароходом он не уехал. Наведались к его друзьям и знакомым. Не обошли и дом священника Ржановского, учинили в нем обыск и устроили допрос. Основания для этого у них имелись. Трое его сыновей — Иван, Сергей и Виктор вместе с Федором были в одном отряде. Отец их, человек начитанный и интеллигентный, сумел привить детям любовь к книге, к знаниям и добру. (Не случайно представители династии Ржановских впоследствии стали учителями. Да и сегодня многие его внуки и правнуки работают на ниве народного просвещения.) Ничего подозрительного противник в доме не обнаружил.

В Гарницах (а до того в Сенной Губе) проверили наличие всех лодок. И тут выяснилось, что лодки Грешниковых на месте нет. Но сами хозяева заверили, и соседи это подтвердили, что была она крайне ветхой, что на ней

не только до материка, но и до Кижей не доедешь. Видать, где-то затонула. На том и успокоились.

Помню, дед не раз говорил, вспоминая о тех годах: «Бог меня тогда миловал». Потом уже, разбирая свои записи, я под впечатлением всего услышанного написала песню в былинном стиле «О свадебном камне». Вот отрывок из нее:

Как во том ли году да незапамятном,
Как во том ли во числе да незаписанном
Приплыла с Онега лодка с белым парусом,
К сенногубскому да берегу причалила.
Были в лодке этой люди иноземные,
С головы до ног оружием обвешены,
В шлемы темные стальные обряженные,
В латы звонкие стальные позакованы.
И сошли на тихий берег люди дерзкие,
Супостаты те лихие иноземные.
Объявились и назвались властелинами.
Стали тут они куражиться-бесчинствовать,
Поразграбили обитель Клименицкую,
Поочистили злату свягую ризницу;
Скот угнали супостаты, все порушили.
И согнали весь народ на покаяние.

На территорию Заонежья, вроде бы оторванную от всяких дорог и путей, в разные времена вторгались вооруженные отряды поляков и шведов, англичан и финнов. Но больше всех свирепствовали, пожалуй, свои соотечественники-белогвардейцы. Наверно, под влиянием этих событий у меня и родилась такая песня. Да что я про свое любительское сочинительство... Вот Иван Герасимович сочинял былины. Одну из них он пел дома. Потом ту былинку в клубе пел Петр Иванович. Современный язык и незамысловатый жалостливый сюжет неизменно нравились слушателям. Содержание примерно такое. Молодой крестьянин, оставив в деревне жену с малыми детьми, нанялся в городе к богатому хозяину. Был он собой ста-

тен и красив. А руки золотые: из дерева мог сделать самую тонкую и красивую вещь. Работал исправно. Не пил и не курил. В него влюбилась хозяйская дочь. Пока они тайком встречались, возникло у них взаимное чувство. Стал мужик постепенно семью забывать. Год прошел, другой, а он все в деревню не едет. Но как-то получил весточку, что дети по нему скучают и спрашивают мать об отце. И затосковал он тоже, решил съездить и посмотреть на всех. Возлюбленная дала ему на дорогу денег, наказала долго не задерживаться. И вот он приехал на родину. Подходит к родительскому подворью, а оно без него обветшало и покосилось. Все вокруг заросло бурьяном. На пустыре перед домом играли дети. В одном из них он узнал сына. Заговорил с ним. Мальчик сказал, что отец их бросил, живет в городе. Жена в это время находилась на поденщине. Дождлся мужик вечера и увидел, как с поля возвращалась исхудавшая, усталая женщина. На плече она несла вязанку дров, и оттого ее походка была еще более некрасивой и тяжелой. Она прошла и даже не взглянула на мужа. Он подошел к ней и невольно прослезился. Стал просить прощения и заверил ее, что в Питер больше не поедет.

Вот такая сентиментальная история рассказывалась в бытине. Не знаю, записывали ли ее фольклористы, но ни в какие издания она не попала. А люди ее слушали и переживали. Женщины вытирали слезы. Была в ней какая-то жизненная правда, потому что и в самом деле не все возвращались домой из ушедших на заработки в город, а ведь у всех в деревне оставались невесты или жены с детьми.

Особенно любил слушать Ивана Герасимовича Микеша из Сенной Губы. Звали его, правда, Никифором, а Микеша — деревенское прозвище. В молодости он работал в Питере маляром. Это тоже сближало. Не знаю, встречались ли они в городе, но дома встречались и подолгу беседовали. Обоим было что вспомнить, о чем пожалеть

или погрузить. Микеша считался малость блаженным. Сельчане над ним подшучивали, посмеивались, дескать, какой спрос с дурачка. На самом деле Микеша дурачком не был. Его уступчивый характер и душевная открытость, а подчас и неумение о себе позаботиться иногда принимались людьми за умственные отклонения. Но Иван Герасимович ценил в нем любознательность, стремление задумываться над сутью вещей. А поскольку Микеша обладал очень хорошей памятью, то знал массу разных историй и был весьма увлекательным собеседником. Однако слушать его не умели или не хотели.

Микеша свято чтит память Ивана Трофимовича, на выступления которого приходил, когда сказитель приезжал с пением былин в Питер. Раз в году Микешу среди самых близких людей приглашали на поминальный чай в андреевский дом. Чаепитие устраивалось в Корбов день. И перед тем, как сесть за стол с дымящейся от жара печки стряпней, к священной сосне, которую почитал Иван Трофимович, выносилась стопка калиток. Обычай этот соблюдался почти до самого начала войны.

Иван Герасимович уважал Микешу и за его способности к рисованию и писанию картин. Для деревенского жителя занятие по тем временам не совсем обычное. Хотя справедливости ради следует сказать, что иконописцы и мастера бытовой росписи были и в других селах Заонежья: в Космозере, в Шунье, в Великой Губе.

Словом, Микеша ни с какой стороны не подходил для «нормального» сельского жителя. Сойдутся они, бывало, поговорят, и Микеша просит: «Спел бы ты, Иван Герасимович, былинку мне. Страсть люблю слушать, как ты поешь». А деда нашего уговаривать долго не нужно было. Ему только душевно настроиться требовалось. Попоет он, попоет, потом чаю попьют; повернет Иван Герасимович чашку на блюдечке кверху дном, что означало: напился, хватит. И снова былинку продолжит. Не курили оба. Для курящих Иван Герасимович держал табак и спич-

ки над входной дверью, а в комнате курить не разрешал. Пел он разные былины. Но больше других любил про Илью Муромца и ссору его с князем Владимиром. Случалось, что и еще кто-либо приходил послушать, отвести в разговорах душу.

Жил Микеша в небольшом родительском домике вместе с одинокой сестрой Ульяной. Когда он вернулся из города, решил обзавестись семьей. Женился. В городе жил бережливо. Работал в артели. Потом отделился и стал выполнять подряды по росписи внутренних покоев купцов и других состоятельных людей. Расписывал толки райскими садами с крылатыми розовыми купидонами. Заработал немного денег.

Взял жену с соседнего острова Леликово, откуда была родом и наша Марфа Петровна. И вот однажды поздней осенью возвращался оттуда с молодой женой в Сенную Губу. Их настиг вихрь. Есть там на озере по всем приметам нехорошее место около деревни Вертикрутилово. Место это люди в просторечии прозвали «Вертикрутилово». Не один человек на том месте погиб и на моей памяти. А зимой там есть «водохожи» — незамерзающие полыньи. Но трагедия с Микешей и его женой приключилась еще осенью. Лодку их перевернуло. Сам Микеша успел ухватиться за уключину, жена — за его ремень. Была она на пятом месяце беременности. Плавать не умела. Да и Микеша на воде держался не очень уверенно. На миг у него от страха помутился разум, и он, не соображая, что делает, отстегнул ремень, чтобы вместе с женой не уйти ко дну. Допустил поступок по всем человеческим и христианским нормам безнравственный. Не подумал о том, что прежде, чем самому спастись, следовало спасти жену, носившую в себе другую жизнь. Она утонула... Подоспела запоздалая помощь. Микешу спасли, а жену его, уже мертвую, с ремнем в руках доставили на берег. После этого Микеша временами действительно стал терять разум. Он часами сидел у окна за сапожным

ремеслом и все время с кем-то разговаривал. Окно выходило на берег, и ему мерещилась жена, идущая от воды с ребенком на руках. Иногда он вскакивал, бежал открывать дверь. Потом снова приходил в себя. А когда наступали дни просветлений, становился совершенно нормальным человеком. Нередко он сам искал собеседника, чтобы хоть в разговорах забыться. Иван Герасимович был среди тех людей, кто в самые горькие для Микеша дни не отвернулся от него, поддерживал словом утешения.

Пришел однажды Микеша в церковь помолиться за жену. Священник, видя, как он изводится, стал ему внушать, что жена погибла безвинно и душа ее обязательно попадет в рай. И Бог простит его грех, потому что он и сам побывал на краю гибели. И если Микеша распишет в церкви потолок, то Бог увидит его раскаяние и снизошлет на него благодать и прощение. В помощь ему он приставил псаломщика, который по несколько раз на дню заглядывал поинтересоваться, как движется работа и не нужно ли чего. Потолок был расписан за две недели. Псаломщик остался доволен, но стал превышать свои полномочия. Похвалил мастера и сказал, что Бог наполовину простил его. Необходимо еще на боковой стене написать Ад, через который уже прошла Микешина душа, а потом он будет занесен в святые списки на паперть. Микеша охотно исполнил и это поручение. Псаломщик, однако, сумел внушить мастеру, что если он около двери изобразит какой-либо библейский сюжет по их совместному выбору, то Бог простит ему все остальные грехи. Остановились на картине «Ной с сыновьями». Задание было не из простых, но Микеша и с ним справился.

Жизнь его потихоньку входила в нормальную колею. Работа отвлекала от горьких дум, а вера в то, что грехи его прощены Богом, вернула ему душевный покой.

Спустя некоторое время псаломщик опять взялся за Микешу: дескать, если он захочет завещать церкви на-

копленные деньги, ему не только простятся все грехи, но он сразу попадет в святые списки не просто на паперть, а на саму церковь. После кончины будет поселен в раю и там встретится с женой. Микеша выполнил и это условие.

Когда остров захватили белогвардейцы, они для строительства батареи разрушили у него полдома. Микеша молча погоревал, да куда пойдешь жаловаться? Был морозный январский день 1920 года. Вернулся он в субботу из бани. Напился чаю из кипящего самовара. Вдруг в дом входит местный белогвардеец, некто Ковалин. Разгоряченного баней и горячим чаем Микешу он отправил в Леликово везти снаряды. Ехать пришлось как раз по тем местам, где случилась трагедия с женой. Он в дороге простыл, схватил крупозное воспаление легких и вскоре умер. А через неделю умерла и его сестра Ульяна.

АВТОРСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

В одной из бесед, участником которых мне, естественно, довелось быть, Мария Федоровна не случайно вспомнила о бескорыстии Ивана Герасимовича, особенно если дело касалось былин. Он понимал свое сказительское место в жизни и считал долгом исполнять былины, не связывая это занятие с прямой выгодой. Былина настраивала и самого сказителя, и его слушателей на высокий лад, очищала душу от повседневных дрязг и сует, давала духовную опору и чувство неразрывного единения с предками. Здесь и была главная выгода. Былина помогала ему (а стало быть, и тем, у кого «уши были не от бадьи дубовой») полнее видеть и понимать окружающий мир, приходит к мысли о том, что жизнь разумна, движется по законам особой упорядоченности, если отбросить войны и иные бедствия. Но ведь война войне рознь, и недаром былинные богатыри выезжали сражаться за

свободу и справедливость. И когда Иван Герасимович пел былины, он был уверен, что и окружающие проникаются такими же мыслями и чувствами, а их и объяснить-то не всегда просто.

Да, жаль, что никто из петербургских фольклористов в свое время не заинтересовался судьбой пасынка Ивана Трофимовича, слава которого, прежде всего исполнительская, еще не выветрилась из залов многочисленных обществ и учебных заведений, где ему довелось петь «былинки». Ведь те люди, или по крайней мере большинство из них, которые слушали заонежских сказителей или воплениц, помнили о том всю жизнь. Мне трудно удержаться еще от одного примера.

Буквально на днях я закончил чтение воспоминаний Н. П. Поповой «Дорогой длиною в полвека». Выпущена книга издательством «Карелия» в 1988 году. Судьба автора полна неожиданных, порой драматических событий. Дочь известного царского генерала, воспитанница привилегированного Смольного института, она стала свидетельницей многих социальных потрясений. И все-таки они не стерли страниц, какие приходятся на выступления Ивана Трофимовича и других сказителей Севера в смольнинских стенах. Досадно, что сказано об этом очень бегло и очень скупо. Но будем благодарны и за то, что столь давние впечатления не затерялись в ее памяти. Поскольку в год завершения книги автору уже было далеко за восемьдесят (и зрение она утратила), то можно судить, что былины Заонежья оставили в ее душе, а значит, и в душе ее сверстниц-смолянок неизгладимый след.

Я не сомневаюсь, что в те годы, когда Иван Герасимович работал в Колпино, а позже и непосредственно в Питере, нашелся бы энтузиаст (знай он об этом обстоятельстве) пропаганды живого народного слова. И если бы ему удалось уговорить Ивана Герасимовича на серию

таких выступлений, которые выпали на долю его отчима, успех был бы обеспечен, я думаю, по многим причинам. От отчима он перенял напевы, восходящие к Трофиму Григорьевичу, все особенности его исполнения. Но внес и свою индивидуальность: былины он только пел и никогда не сказывал. В его исполнении они отличались четкостью композиции, ритмической наполненностью; в них прослеживалась глубина замысла и тщательное описание природы, деталей быта; вставали яркие характеры персонажей. В этом легко убедиться, взяв любую из его былин.

О преемственности я уже говорил. Но вот что писала А. М. Астахова, посвятившая творчеству сказителей Рябиных немало исследований: «По своим размерам былины Ивана Герасимовича почти не отличаются от былин Трофима Григорьевича. Колебания в ту или иную сторону незначительны. Есть былины, по количеству стихов даже превосходящие дедовские («Второй бой Добрыни со Змеем», «Женитьба князя Владимира»), есть несколько короче («Добрыня и марына»), большинство почти совпадают».

Былины Ивана Герасимовича в те годы могли бы пользоваться успехом в петроградских аудиториях и по той причине, что обязательно нашлись бы поборники казенного патриотизма и сумели бы связать былинных богатырей с воинами, сражавшимися на фронтах первой мировой войны вначале «за царя и отечество», а позже — «до победного конца». Но обо всем этом теперь можно только гадать и строить предположения, как и по какому пути или руслу мог бы быть направлен талант Ивана Герасимовича. И мои личные раздумья о возможном месте сказителя в общественной жизни тех лет хотелось бы завершить словами все той же А. М. Астаховой: «Сопоставление былин всех четырех Рябиных приводит к следующему заключению: в основном редакции Трофима Рябина донесены до нашего времени без существен-

ных переработок, и те изменения, которые вносят его потомки, выражаются по преимуществу в перестановках эпизодов и стихов, словесных перефразировках и не дают принципиальных различий... В лице Ивана Герасимовича Рябинина-Андреева мы видим чуткого и вдумчивого хранителя семейной эпической традиции, выражающей характерные особенности местной эпической школы, иногда, правда, в своеобразной, с индивидуальными оттенками форме. Третий Рябинин (то есть Иван Герасимович.— *И. К.*) — несомненно, один из крупнейших мастеров былины кижской школы сказителей».

И все же в Петрограде Ивану Герасимовичу выступить удалось, или сказать лучше — довелось. Произошло это так. В конце 1918 года при поддержке наркома просвещения А. В. Луначарского в городе на Неве, только что внешне утихшем от революционных событий, был создан не совсем обычный институт — Институт живого слова. О его культурном значении тех лет, характере и атмосфере занятий, разнообразном составе профессоров и студентов подробно рассказала в мемуарах «На берегах Невы», опубликованных журналом «Звезда» во втором — четвертом номерах за 1988 год, Ирина Одоевцева, вернувшаяся из Парижа после многолетней эмиграции. Так вот, большое значение в институте придавалось звучанию устной речи, мастерству слова. А в конце 1920 года возник вопрос об использовании всего богатства устного народного творчества и, конечно же, стихотворного эпоса — былин. И когда в процессе занятий завели речь о былинной традиции, тут-то и привлекла энтузиастов семья сказителей Рябининых. Однако из их династии специалистам в те годы были известны лишь Трофим Рябинин и его сын Иван Трофимович. Ни того ни другого в живых уже не осталось. Но говорили, что и молодое поколение обучено дедовскому искусству. Тогда руководство института решило командировать в Заонежье одну из

активных студенток, подававших большие надежды в фольклористике и знавшую крестьянский быт, — Анну Ивановну Смирнову. Выехала она с определенным заданием: побывать в деревне Гарницы и, если возможно, привезти в Петроград кого-либо из рода Рябининых-Андреевых, унаследовавших былинный дар предков. Путь был нелегкий по тем временам, но оставим в стороне все дорожные неурядицы и оценим преданность Анны Ивановны своему делу.

Встретили ее в андреевском доме приветливо. В кои-то веки приезжают такие далекие гости. Поначалу она не стала объяснять цели приезда, суеверно боясь отпугнуть сказителя неожиданным предложением. А то, что перед ней оказался настоящий сказитель с великолепной певческой былинной традицией, она поняла в тот же вечер, когда по ее просьбе Иван Герасимович пропел две былины — про женитьбу князя Владимира и про Илью Муромца и Соловья-разбойника. Семья Андреевых в тот вечер занималась обычными делами. Марфа Петровна порядничала по дому; выходила накормить скотину, затем принялась готовить ужин. Сын Петр, еще не достигший совершеннолетия, молча у окна вязал сети. Остальные дети с родителями не жили. Петру, знавшему уже не одну былинку, так хотелось отличиться перед гостьей, что при малейшей паузе в разговоре он оборачивался к отцу, но тот не давал ему никакого знака, и будущий сказитель скромно помалкивал. За весь их род отчитывался отец. Вместе с гостьей Ивана Герасимовича слушали и соседи, пришедшие на беседу. Долго в андреевском доме не гасла двадцатилинейная лампа, подвешенная к потолку. Иван Герасимович привез ее из Питера.

Чай в деревне не мыслился без хорошего ужина. После полуголодной петроградской жизни Анна Ивановна с удовольствием, хотя и с некоторым стеснением, поглощала деревенские деликатесы — разваристую картошку с

волнушками, свежепросоленного зажаренного сига, хрустящую капусту и многое другое, что стояло в больших деревянных блюдах на столе.

Она рассказывала, как добралась до Гарниц. В Петрозаводском исполкоме ей определенно не могли разъяснить, кто из сказителей там жив, но не сомневались, что кто-нибудь да имеется, не оскудело Заонежье народными талантами. Выписали путевку на подводу, дали возницу... Если для местного жителя поездка по замерзшему Онего привычна, то для молодой горожанки (не беря в расчет холодный, пронизывающий ветер и прочие дорожные неудобства) все было исполнено особого смысла: проплывавшие мимо деревни с высокими боярскими хоромами, с церквушками на холмах или едва приметными часовенками, примостившимися среди разлапистых елей; ветряные мельницы и острова, торжественно замершие в зимнем сне.

Марфа Петровна была хозяйкой гостеприимной. Марку дома старалась держать, а тут гостя из самого Петрограда. Она даже уговаривала ее не спешить обратно, отдохнуть как следует, да и Иван Герасимович пытался убедить, что за один или два дня он не успеет собраться в дорогу.

О предложении института она ему осторожно сказала утром. Сказала без всякой надежды на согласие сказителя. Уж очень большое и хлопотное у него хозяйство, как она убедилась: на дворе скотина, воды наноси, дров припаси, снег на тропинках разбросай, прорубь на озере в порядок приведи, ловушки проверь... Вот и в день ее приезда они с сыном уехали за сеном на дальнюю пожню. Подались туда раненько, а вернулись, когда уже начинало смеркаться. День на севере короток. Час с утра упустишь, ничем не наверстаешь. И едва ли ей удастся заинтересовать сказителя поездкой. Что ему Петроград, если он и так сыт по горло суровой явью заводских будней, смутой и неразберихой давешних событий, где и ему

досталось. А здесь, дома, такая благодать и покой, от которых слово само по себе поет. Не могла Анна Ивановна заинтересовать его и денежным вознаграждением: лишь скудные средства выделил институт, так что вряд ли можно было обещать, что после выступлений ему заплатят по-божески. Конечно, и встретят, и приютят, и подарки организуют, и обратно с честью проводят — все это она знала и была в том уверена. Но знала и то, что вознаграждение его ожидает весьма скромное... И как же она была удивлена, когда он после минутного раздумья согласился.

— Ну уж коль такие ученые люди просят, куды денешься, ехать надо,— сказал он обрадованной гостье.— Мой отчим и дед Трофим ездили, не рядились, и я их подводить не должен. Слухай меня, Петр, и запоминай. Не будет меня, тебе петь былины нашего рода. Он у меня уже многое перенял,— пояснил он Смирновой.— Не вздумай и ты отказываться, когда просить будут. Такое уж дело наше святое... Управитесь тут с матерью без меня неделю какую...

А пока Иван Герасимович намеревался кое-что пропеть специально для гостыи. На второй вечер кончился керосин. Беды большой в том, как оказалось, не было. В доме на запечье всегда лежала толстым слоем припасенная впрок лучина. Ровная и сосновая, она горела ярко и без треска. Несколько лучин одновременно вставлялись в светец с причудливыми железными отростками и зажигались. Марфа Петровна привычно и умело переставляла и заменяла сгоревшие лучинины, и довольно ровный свет, придававший избе некое былинное очарование, не гас до поздней ночи.

Марфе Петровне ничего иного не оставалось, как начать собирать мужа в дорогу. Зима, да и путь не близкий, разное что потребуется; на люди не выйдешь в чем попало. Известно, крестьянин снаряжается в поездку тща-

тельнее, чем горожанин, потому что опыт научил быть осмотрительным.

За день до отъезда Иван Герасимович вздумал познакомиться гостью с двумя стариками сказителями, жившими в соседней деревне:

— Может, кто из них больше понравится. Пусть тот и в Питер едет.— Вот такое бескорыстие проявилось у него и в данном вопросе.

И когда я, автор, дошел до этих строк, мне вдруг вспомнился один из последних съездов российских писателей. От нашей Карельской организации нужно было направить всего пять человек из сорока пяти. Каждый, считай, заслуживал права представить свой край на высшем литературном форуме России. И всем, наверное, такого почета хотелось. Но одному из нас хотелось настолько безоговорочно, что он устроил на правлении скандал, допустил подтасовку, чтобы быть включенным в желанный список... А другой включил себя уже сверх всякой нормы — шестым. Есть тут над чем подумать, и прежде всего над тем, как «совершенствуются» наши нравы и наша культура чувств.

...Знакомя Смирнову с обоими сказителями, Иван Герасимович, однако, в своем мастерстве не сомневался. Просто престижную поездку в Петроград он решил завоевать в честном состязании и выиграл его. Соседи по просьбе Анны Ивановны охотно пели былины, рассказывали сказки. И получалось несравненно хуже: оба они отступали от текстов, многое пропускали. К тому же у одного был речевой дефект, а у второго — простуда, и он мог петь только вполголоса. В каком-то месте Иван Герасимович не выдержал и остановил его:

— Мой батюшка здесь иначе сказывал, и я так от него выучился.

Он стал с распевом, в полный голос воспроизводить пропущенные строки, заменять искаженные. Само исполнение было богаче по чувству ритма и чистоте голоса.

Смирнова поблагодарила сказителя, и они договорились, что, когда она приедет в экспедицию, непременно более подробно побеседует с ним и запишет от него все, что он помнит. Экспедиция такая действительно состоялась уже в 1926 году. Но к тому времени уже не было в живых ни Ивана Герасимовича, ни этих сказителей.

Накануне отъезда Иван Герасимович с Петром съездили за сеном, справили другие домашние дела. Ранним утром выехали и к вечеру добрались до Петрозаводска. Анна Ивановна устроилась в доме приезжих, где ее ждала оставленная комната. Иван Герасимович направился к старшему сыну Степану.

Но пора продолжить воспоминания Марии Федоровны, которые мы так неожиданно прервали. О поездке же Ивана Герасимовича в Петроград и его выступлении в Институте живого слова расскажем чуть погодя.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАССКАЗА МАРИИ ФЕДОРОВНЫ

Степан Иванович рано познал крестьянский труд. Ему было всего десять лет, когда отец уехал в Питер на заработки. Семья у отца росла, земли же после раздела осталось недостаточно, чтобы жить только хозяйством. А андреевские жить в бедности не привыкли. Степан был высок ростом, статен и красив. Замечательно играл на балалайке. Знал множество старинных народных и уже советских песен, припевок, частушек, танцевальных наигрышей. Но к пению былин почему-то не пристрастился. Может, потому, что подолгу не общался с отцом и редко слушал его пение. Была у него в Сенной Губе девушка Настя Кайкина, и он ее очень любил. Чувство это было взаимным. Они дружили не один год и мечтали о скорой свадьбе. Настя была из справной семьи, где почитались старые порядки, и новые веяния сквозь стены ее дома еще не проникли. Степан, конечно, придерживался не-

сколько иных взглядов, что не мешало их чувству, да и едва ли оба они серьезно задумывались об устройстве жизни. Когда он перебрался на работу в город, они поклялись вечно любить друг друга и при первом же удобном случае соединить свои сердца.

Через год он приехал в отпуск и посватался к ней. Родители невесты ему отказали. Дед Степана Иван Трофимович был старообрядцем, и потому родниться Кайкины не захотели. Но главная причина заключалась в том, что сестра жениха Ольга была замужем за коммунистом — безбожником и бедняком. А по обычаям тех лет со сватами надо было поддерживать родственные отношения. Насте подыскали другую пару. Перечить родителям не полагалось, и Настя вышла замуж. Жених был из своей же деревни, неплохой парень. Жить они стали хорошо.

Степан после этого три года не женился и домашним заявил, что никогда не женится. Между тем время берет свое и все сердечные раны заживляет. Степану понравилась городская девушка Ксения. Боевая и красивая. Мать ее была родом из Заонежья, из деревни Конда, но Ксения выросла в городе. Они имели дом на Малой Подгорной, напоминавший добротную избу с высоким крыльцом, причелинами по фасадной стороне крыши и свисающими резными полотенцами. В доме стояла русская печь. Вдоль стен — лавки. Мы с матерью в тридцатых годах заходили к ним в гости, когда бывали в Петрозаводске. Они всегда были нам рады. Дом в войну не уцелел. После демобилизации Петр Иванович тоже навещал Ксению.

А что Кайкины? С Дьяковыми им все же пришлось породниться. Случилось это через десять лет после свадьбы Насти. Подросла у них младшая дочь Шура. Она поступила в какое-то городское училище. Годы были трудные, голодные. Стипендию тогда едва ли платили. В общем, учебу она оставила, а тут подружилась с нашим

родственником Николаем Дьяковым. Молодые люди знали, что ни с той, ни с другой стороны согласия на их свадьбу не будет. Они решили пожениться без родительского благословения. У Николая была вечеринка. Когда друзья разошлись, он увел Шуру в свою комнату и три дня никому ее не показывал, в комнату никого не пускал. Способ соединить свою судьбу с любимой девушкой выбрал он не самый лучший, но другого выхода не видел. И родители вынуждены были согласиться. Об этом эпизоде можно было бы, наверно, и не рассказывать, но мне хотелось привести его как пример того, что старинные устои и традиции понемногу рушились. Молодежь не хотела мириться с нелепыми условностями и предрассудками, которые мешали самому главному в жизни — любви, созданию семьи по собственному выбору и убеждению.

К приезду Ивана Герасимовича в Петрозаводск зимой 1921 года Степан работал на мебельной фабрике краснодеревцем. У него уже были ученики, и зарабатывал он неплохо. Жил безбедно. Не только не просил помощи из дома, но и сам мог при случае прислать в деревню то немного денег, то какие-нибудь гостинцы. Степан закончил в Гарницах приходскую школу, и больше возможности учиться у него не было, если не считать различных курсов повышения квалификации и кружков политграмоты. Но, умный и восприимчивый от природы, от времени не отставал. Его повышали в должностях. Вначале был мастером, затем начальником участка, а впоследствии уже и заместителем директора Онежского тракторного завода, с которым его эвакуировали в Сибирь.

Так вот, в тот вечер, когда Иван Герасимович появился в Петрозаводске, они долго беседовали. Знавший толк в городской жизни и заводских делах, отец подробно расспрашивал Степана об условиях на фабрике, об отношениях с начальством и остался очень доволен сыном.

Сказал, что примерно через неделю будет возвращаться из Петрограда и пойдет к нему. Наказал купить бутылку керосина и кое-что из домашней утвари.

Степан обрел полную самостоятельность. Но в эти годы почти не утратил воспитанных в нем с детства устоев и привычек. Он соблюдал обычаи своих предков: не пил и не курил, не употреблял в разговоре бранных слов. Думается, что деревенская закалка в работе и крестьянская добросовестность (все делать хорошо, не считаясь ни с чем) помогли ему и в городе занять достойное место.

АВТОРСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Когда Анна Ивановна Смирнова привезла Ивана Герасимовича в Петроград, в Институте живого слова как раз проходила конференция. Институт в то время располагался на площади Островского, в доме, принадлежавшем до революции кредитному обществу. Здесь под конференцию отвели бывший концертный зал на третьем этаже. Наряду с научными работниками собрались учителя школ. Обсуждался вопрос о преподавании устного слова. Рассматривались самые разные аспекты — от повышения мастерства педагога до отбора тематики. Это был уже последний день заседаний, и заполнять аудиторию специально для встречи с онежским сказителем не было необходимости. Его ждали, только волновались, что он может опоздать. К счастью, все обошлось благополучно. Вот как об этом вспоминала сама Смирнова, вбежавшая в зал в валенках и шубейке, с платком на голове:

«Я ввела с собой Ивана Герасимовича. Все были потрясены удачей. Прямо с поезда, не успев умыться и закусить, сказитель был вынужден выступать на конференции. Ни сцены, ни эстрады не было. Наскоро составили несколько столов, на стол поставили венский стул.

Иван Герасимович сел на возвышение и негромким голосом запел былинку «Про Илью Муромца и Соловья-разбойника», гулко разносившимся в зале без всякой акустики».

Сохранился и отзыв одной из слушательниц о том впечатлении, которое произвел на них заонежский сказитель: «Это был человек выше среднего роста; статный худощавый шатен с небольшой окладистой бородкой и светлыми, необычайно искристыми глазами, крепкий на ногах, степенный и приветливый, несколько медлительный в движениях и речи. Он хорошо знал, что к мастерству, которым владела его семья, есть интерес в научных и художественных кругах, и охотно готов был знакомить с ним».

Иван Герасимович не смутился при виде переполненного зала. Скорее, в эти минуты он сожалел о том, что вот так же мог бы выступать если не перед этой, то перед другой аудиторией и в других помещениях еще в ту пору, когда был молодым рабочим и за ним не нужно было ехать в деревню. Публика, утомленная занятиями и лекциями, проявила к сказителю не показной интерес. В зале стояла тишина, и голос его, отчетливый и ровный, доносился без искажения до задних рядов. Любители былинного слова, а их в зале было немало, получили истинное наслаждение.

Когда Иван Герасимович кончил петь, он после небольшой паузы спросил:

— Поди, чай, за день и без меня устали? А я ведь мог бы петь еще. Но сказать по правде, не на один день собрался в Питер. Могу и завтра прийти, коли надобность такая возникнет.

Он ответил на вопросы, поведал о «секретах» своего мастерства, рассказал о том, как учился петь и запоминать былины. Знал он много былин и новин и пел их по-разному.

Доктор искусствоведения, профессор Всеволод Нико-

лаевич Всеволодский-Гернгросс, кому принадлежат труды по истории древнерусского театра и театра XVIII века, в предисловии к сборнику «Былины Ивана Герасимовича Рябинина-Андреева» (Государственное издательство Карело-Финской АССР, 1948) свидетельствует:

«Он помнил много былин, и все они пелись на три напева: на один напев — былина о Вольге и Микуле, на другой — о Василии Окулевиче и на третий — все остальные. По словам Ивана Герасимовича, в их роду в старину число напевов было больше, но они со временем забылись. По манере исполнения каждый из трех напевов имел свои особенности: былинку о Вольге и Микуле Иван Герасимович исполнял более декламационно, передавая мелодикой напева интонации разговорной речи; два других напева интонировались значительно более песенно, напевно... Третий напев состоял из двух музыкальных полустроф. Любой из своих стихов Рябинин мог уложить в любую полустрофу, варьируя расстановку вставных ритмических словечек: то, ведь, а, да, и. Если исполнителя не перебивали, то он связывал стихи текста и музыкальные полустрофы самопроизвольно, импровизационно, причем вслед за первой вторая повторялась несколько раз, в целом формируя подобие строф. Но стоило задать ему во время исполнения какой-либо вопрос или ему чем-либо отвлечься, как вслед за этим следовала первая половина музыкальной строфы.

Словесная ткань во время свободного исполнения каждый раз несколько различалась от словесной ткани во время замедленного исполнения или диктовки для записи. И когда я задавал ему вопрос, какой же именно текст правильный, он неизменно отвечал: «А все равно, как хочешь, так и пиши». Я провел с Рябининым много времени и много его записывал. В итоге у меня сложилось впечатление, что в исполнении Ивана Герасимовича Рябинина-Андреева несомненно присутствовал момент автоматизма, наблюдаемый у декламаторов в тех слу-

чаях, когда они слишком часто выступают с исполнением данного произведения. Так, например, даже целые эпизоды вставлялись или опускались зачастую непроизвольно, по чисто мнемоническим причинам. Это явление в исполнении былин необходимо учесть, чтобы ошибочно не приписывать художественно-творческому процессу факты, имеющие чисто технологическую природу.

Исполнение Рябинина не было, по моим наблюдениям, внеэмоциональным. Наблюдения над Рябининым убедили меня еще раз в том, что ритмико-мелодическая структура является прекрасным мнемоническим и организующим текст средством и что утрата его влечет за собой деформацию текста. Знакомство с Рябининым привело меня и моих учеников к напевному исполнению эпоса с индивидуальной для данного исполнителя композицией напева. Образы подобных композиций опубликованы в моей работе «Искусство декламации».

Вынужден извиниться за такую длинную цитату, но думаю, что она не только уместна (других аналогичных наблюдений мы просто не имеем), но и будет полезна тем, кто проявит или проявляет интерес к исполнительской деятельности сказителей. Наблюдения эти дают представление об особенностях мастерства одного из династии Рябининых и в то же время помогают лучше понять былевую традицию и то, как ее культивировали сменяющиеся поколения.

Современная фольклористика в лице ее наиболее заинтересованных представителей могла бы, вероятно, обогатить наши знания и своими обобщениями на основе последующих записей сказителей различных школ и направлений. Но мы на этом вопросе останавливаться не будем и продолжим рассказ об Иване Герасимовиче и его сыне Петре.

К сожалению, нет сведений о том, сколько дней длилась поездка Ивана Герасимовича в Петроград, много ли он там выступал. Можно только предположить, что не

раз и не два, иначе какой смысл было везти сказителя зимой из далекого полубездорожного края? Известно, правда, из заметок В. Н. Всеволодского-Гернгросса, что после завершения конференции началась запись былин. Работа была напряженной, делали ее с энтузиазмом, но все былины записать не удалось. Договорились встретиться со сказителем у него на родине, так как вскоре планировалась комплексная экспедиция в Заонежье. Однако экспедиция состоялась, как я уже говорил, лишь в 1926 году. Проходила она под эгидой Государственного института истории искусств, и по ее итогам была издана книга «Народная культура Заонежья». Участники экспедиции побывали, конечно, в Гарницах, но Иван Герасимович умер за несколько месяцев до их приезда от жестокой простуды. Полковой врач не зря когда-то строго наказывал ему беречься. Не уберегся.

Тогда же сколько-то былин записали от Петра Ивановича. Это был, можно сказать, первый выход последнего сказителя из рода Рябининых в большой мир устного народного творчества. Слава сказительская придет к нему лет через десять, когда от него будут записаны все былины, унаследованные им от предков. Он и сам станет их записывать, привнося в некоторые из них свою личностную окраску и манеру исполнения. Он напишет и несколько новин уже на современные темы, будет успешно выступать с ними. Но всему этому предстоящему творческому пробуждению, несомненно, способствовала та встреча с учеными-фольклористами в 1926 году.

СЕДЬМАЯ БЕСЕДА МАРИИ ФЕДОРОВНЫ

Осенью 1925 года Петр Иванович и вдовья дочь Шура Ригачина поженились. Иван Герасимович не поскупился на свадебные расходы, хотя излишков особых в доме уже не было. А чтобы покрыть издержки и не оставить

семью без средств, решил выехать на лесозаготовки по семейному подряду. (Это сегодня многим кажется, что семейный подряд — какая-то новая, найденная недавно форма. Он, этот подряд, еще в двадцатые годы себя оправдывал.) Сходил Иван Герасимович в местный Совет и выправил разрешение на работу в лесной делянке на противоположном берегу Онежского озера, около деревни Габсельга. Тамошние сосновые боры издавна славились корабельными рощами. Росли сосна к сосне, и кронами поднимались они до самых туч. А теперь там, как сказывали мне местные жители, хоть шаром покати. Леспромхоз последние остатки подбирает, в основном же все выгорело от пожаров. Даже название деревни есть такое — Огорельши.

Так вот, в эти места Иван Герасимович с Петром, зятем Федором и с братом его Павлом выехали с наступлением зимы, когда лед на Онеге стал прочным, ранним утром на двух лошадях. На один воз, сколько могли, нагрузили сена, а на другую подводу сложили то, что требовалось для долгой лесной жизни. Делянка была километрах в пятнадцати от деревни. Дни зимой короткие. И если бы они встали на постой в деревне, то полдня уходило бы на дорогу. Заготовщики древесины обычно жили в землянках, работали от темна до темна. Наши стали работать на двух пилах. Спешили управиться до Рождества. Близилась предпраздничная суббота, и они решили к концу недели разобрать заготовленный лес на сортименты, уложить, подготовить для сдачи.

Особенно старались в последние дни. Федор Семенович скинул полушубок. Его молодое, разгоряченное тело не чувствовало морозца. Глядя на него, разделся и Иван Герасимович. Его уговаривали, чтобы он не раздевался и слишком не напрягался. Не послушался. Лес сдать успели. Пришли в землянку. Ивана Герасимовича стало знобить. Натопили времянку, накрыли его потеплей.

От ужина он отказался, выпил лишь кружку горячего чаю. Ночь как будто прошла спокойно. Утром втроем взялись убирать сучья и лапник, чтобы сдать делянку в надлежащем виде местному леснику. Трудились до вечера.

Вернулись — печь не топится. Дерюги на дверях нету. Оказалось, она загорелась и Иван Герасимович сорвал ее, чтобы избежать пожара. Все загасил, что горело, а печурку залил водой. Так на холоде и лежал. Наши испугались, что он сильно простынет. И волновались не зря. Быстро отвезли его в деревню. В Габсельге был фельдшер. Тот посмотрел, послушал, простучал грудь и спину и определил, что у больного двухстороннее воспаление легких. Посоветовал скорее ехать в больницу. Ближайшая была в Повенце, за тридцать километров по заметенной дороге. Иван Герасимович в больницу не захотел и велел собираться домой. Был уже вечер. Глядя на ночь, трогаться в путь побоялись — на озере после поземки можно было легко сбиться с вешек. Рано утром, пересчитав заработок, выехали. Дома позвали своего фельдшера из Сенной Губы. Диагноз, поставленный в Габсельге, он подтвердил. Парили в бане, шептали заговоры бабки — не помогло. Через неделю после Рождества Ивана Герасимовича не стало.

Время летит стремительно. Сколько событий пережито. Вот и я уж состарилась. Но на всю жизнь я, еще совсем маленькая, запомнила день похорон деда. Мать с отцом с утра ушли в Гарницы. А мы с бабушкой сидели у окна и смотрели на залив около церкви. Бабушка объяснила, что оттуда привезут дедушку. Вскоре показалась лошадь. Она тащила за собой дровни, а на них белел гроб. На колокольне зазвонил колокол. В тот день он звонил с самого утра уныло и размеренно, с большими промежутками. Звон этот был заказан. Следом за дров-

нями растянулись цепочкой человек двадцать родных и близких. Среди провожавших была и вдова расстрелянного милиционера Ивана Малинина. Вся эта картина до сих пор стоит перед глазами.

У церкви лошадь остановилась. Гроб с телом Ивана Герасимовича в сопровождении псаломщика стали заносить внутрь. Отпевание отец и мать переждали дома. Коммунистам заходить в церковь и принимать участие в ее обрядах не рекомендовалось. Я не помню, о чем тогда говорили родители, но помню, что мать не плакала. Наверно, все слезы были уже пролиты в Гарницах.

Бабушка перед тем быстро оделась и поспешила в церковь проститься со сватом. Мы с матерью из избы теперь стали смотреть в другое окно, выходявшее на кладбище. Там чернела яма. И вот вынесли гроб, поставили его на краю ямы. Отец вышел отдать последний поклон тестю. Следом — мать. На руках маленький ребенок. На ходу передав его бабушке, вернувшейся с улицы, она через площадь, проваливаясь в снег, побежала к погосту. С ее приходом гроб начали опускать. Замелькали лопаты, и вскоре на чистом полотне снега выросла большая черная могила. Как-то странно и нелепо посреди белой спокойной зимы выглядел этот холм.

Все разошлись по домам. Гарницкие вместе с нашими родными уехали к себе. Не помню, о чем и какие слова говорились в тот день об Иване Герасимовиче, но говорили только о нем. Позже я сочинила такие незамысловатые строки, которые, мне думается, выражают его главную человеческую суть:

Был он и воин,
Был и кузнец,
Был он и пахарь,
Был и певец.

АВТОРСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Когда рукопись этой повести подходила к концу, я неожиданно получил из Сенной Губы письмо — от старой жительницы, почти ровесницы Петра Ивановича:

«Уважаемый Иван Алексеевич! Вы, как я слышала, пишете о Рябининых-Андреевых и интересуетесь жизнью Петра Ивановича. Теперь уже в деревне осталось мало людей, кто его хорошо помнит. Я родилась в деревне Лонгасы Сенногубского сельского Совета. В тридцатые годы работала в библиотеке и клубе. Как это теперь принято говорить, находилась в гуще дел, среди народа. Конечно, я хорошо знала Петра Ивановича. Он подолгу тут жил и в послевоенные годы. Помню, как он выступал в клубе. Народу собиралось много. Клуб тогда действительно был очагом культуры, и люди тянулись на его огонек со всех отдаленных деревенок. В жизни и в быту наш сказитель ничем не отличался от земляков. Но во время выступлений он словно преображался. Неизвестно откуда приходили к нему напевные слова, от которых веяло волшебством. Он рисовал картину за картиной прошлого, но пел и современные былины. А иногда рассказывал о своих поездках. Как он ездил в Москву и в Ленинград, как вручали ему в Кремле орден и памятные подарки».

РАССКАЗЫВАЕТ ДОЧЬ СКАЗИТЕЛЯ АНАСТАСИЯ ПЕТРОВНА

До войны отцу вручили ключи от новой квартиры в Петрозаводске. Он отказался. Не мог оставить работу, привычный уклад. Наверно, он поступил правильно. А когда демобилизовался, в сентябре 1945 года приехал в Петрозаводск. Здесь к тому времени мы все посели-

лись. Сперва жили тесно и неустроенно во флигельке у Степана Ивановича. Я уже говорила, что дядя получил жилье от завода. Нашлось у него место и для нас. Но вскоре правительство республики выделило отцу, как народному сказителю, просторную квартиру на улице Гоголя. Дом этот и сейчас стоит на своем месте, правда, полуобгоревший, и, видимо, скоро его снесут. Так распорядилась судьба, что и нынешняя моя квартира находится рядом с нашим бывшим домом.

Я училась в средней школе по улице Крупской. В шестом классе мы изучали былины наших сказителей, и в учебнике были помещены портреты Рябининых. Узнали, конечно, что я дочь сказителя, и стали приглашать в школу для выступлений Петра Ивановича. Он исполнял былины очень напевно, голос у него был звонкий и красивый. Особенно хорошо он пел русские народные песни. Жаль, что никому тогда не пришло в голову записать в его исполнении и былины, и русские песни. Правда, одна запись сохранилась — видимо, еще довоенная. На пластинке звучат голоса и других Рябининых — его отца и деда. Но все это не дает истинного представления. Ошибочно принято считать, что русские народные песни главным образом пели в застолье. Далеко не так. Могу судить на примере своего отца. Пел он из душевной потребности — и дома, и в поле, и особенно у себя на маяке. Известный наш художник, заслуженный деятель искусств РСФСР Георгий Аламович Стронк, часто навещавший нас в Гарницах (он сделал не один портрет отца), вспоминал, как они с Петром Ивановичем выезжали вечером на рыбалку и отец пел песни — их слышала вся округа, потому что голос на глади воды разносится далеко.

Очень уважительно к творчеству Петра Ивановича относился и тогдашний председатель президиума Верховного Совета Карелии П. М. Проккоев. По его распоряжению отцу назначили персональную пенсию, поскольку

он был инвалидом войны, и освободили от уплаты за квартиру.

Но до конца городским человеком, как мне кажется сегодня, отец так и не стал. Душа его была в Заонежье, в родимой деревне. Былинное слово он любил беззаветно и к людям, готовым его слушать, относился внимательно, с уважением. Печатался редко, хотя его книгу можно было бы переиздавать и пополнять за счет и тех былин, которые не вошли в первый состав сборника, и появлявшихся на современную тему. Сам Петр Иванович из скромности этот вопрос не ставил, а секция фольклора Союза писателей тоже почему-то интереса не обнаруживала. Но в общественной жизни он был весьма активен. Помимо пения былин в различных аудиториях, участвовал в собраниях и заседаниях по обсуждению рукописей писателей. Большинство из них — вчерашние фронтовики, и им было о чем вспомнить. Тема минувшей войны в те годы главенствовала.

Впервые от Петра Ивановича былины были записаны, как известно, в 1926 году. Факт этот знаменателен: он сразу и безоговорочно становится продолжателем былинного рода. Всего-то в возрасте двадцати одного года. С тех пор записи повторялись неоднократно. Он усвоил почти весь отцовский репертуар, как говорят сами фольклористы, но продолжал постигать тайны исполнительского мастерства и народного слова. Встречался он и с известной вопленицей Анастасией Богдановой. Жила она на нашем острове в деревне Зиновьево. В 1927 году их вместе пригласили в Петрозаводск, а вскоре в Ленинград и в Москву. Если верить прессе, в любых аудиториях, где бы они ни выступали, их слушали с исключительным интересом. Этому, видно, способствовало и то обстоятельство, что в тех же самых залах, кажется, еще совсем недавно звучали голоса других заонежских сказителей и сказительниц.

Я бережно храню документы и письма отца, все све-

дения, которые касаются его жизни и творчества. Надеюсь, что когда-нибудь опубликуют воспоминания людей, близко знавших Петра Ивановича или с ним часто встречавшихся. Напишу и я воспоминания, и пусть эти мои беглые мысли послужат как бы некоторой основой для будущей книги.

АВТОРСКАЯ РЕМАРКА

Петр Иванович был натурой цельной, упорно учился, много читал, обогащал свою память — основной инструмент сказителя. В 1926 году он знал только четыре былины, в 1932-м — девять, а к середине тридцатых годов — одиннадцать былин. Сын его, Василий Петрович, ушедший, к сожалению, недавно из жизни, рассказывал мне, что, находясь на маячном острове — все равно, один или вдвоем с ним, — Петр Иванович мог петь часами. Издание былин Рябининых было при нем, и он то и дело обращался к текстам, иногда их подправлял. Чутье и знание былинного слова помогали ему находить самое точное выражение или словосочетание. Иногда ведь строки его отца или деда были искажены при записях. Жаль, что книга эта с личными пометками сказителя погибла в войну вместе с другими реликвиями рябининского дома. Об одной из реликвий говорил мне и Василий Петрович:

— Сберег я прадедовскую вилку, старообрядческую. С ней Иван Трофимович ездил за границу. Просят в музей «Кижи», да, думаю, пусть еще полежит дома.

Позже я вилку увидел. Трехзубая, щербатая от времени, с потрескавшейся рукояткой из черного дерева. На реликвию она мало похожа. Вся слава ее в том, что она принадлежала знаменитому сказителю. А это уже немало!

Александра Васильевна, отметившая недавно свое

80-летие, вспоминает, как ее муж Петр Иванович в шестилетнем возрасте (этот эпизод неоднократно воспроизводили в семейной обстановке) пел первую былину. Марфа Петровна была в гостях у родителей в Леликово. А дед и бабка посадили внука за стол в большой угол и велели спеть былину о Вольге и Микуле. Пообещали дать копейку и крендель. Это была первая его награда.

Я отмечал уже, что, как и многие сказители середины тридцатых годов, Петр Иванович тоже отдал дань сочинительству и пению «новин», как называли фольклористы былины на современную тему. В них славились любимые народные герои-революционеры и герои гражданской войны. Но главным образом нужно было следовать жесткой установке тех лет — воспевать «славных вождей», их ближайших соратников. Сегодня к этой странице истории нашей фольклористики можно относиться по-разному, но отказываться от нее вовсе было бы неразумно. В любом случае вместе с народом сказители несли нелегкий крест и исполняли долг, как могли, в меру своего дарования.

В мае 1939 года состоялось Всекарельское совещание сказителей. С одним из докладов выступил профессор Н. П. Андреев, сказавший в частности: «Еще в детстве он (Петр Иванович Рябинин-Андреев.— И. К.) слышал рассказы от стариков о Кижях и о «возмутителях» Климе Соболеве, Семене Костине и других крестьянских вожаках. Петр Иванович заинтересовался героическим прошлым своей родины. Не так давно он прочитал книжку «История Онежского завода», в которой сообщались сведения и о Кижском восстании. Чем не тема для героической былины?!»

На этом совещании раздумьями о сказительском труде поделился и Петр Иванович. Он напомнил, что былины достойны не только давно минувшие события, но и совсем недавние — гражданская война еще свежа в памяти старшего поколения. Он рассказал о том, что стал много чи-

тать, пытаясь наверстать упущенное, и что каждая прочитанная историческая, документальная книга наводит его на мысль о рождении той или иной былины. А под конец вновь вернулся к теме кижских волнений. Видимо, она действительно его мучила и не давала покоя:

— Тут ведь картечью в народ стреляли... Сколько людей пострадало! Кижских мужиков гнали на заводы колеса вручную крутить да камни ломать. Не под силу им было, а еще и от хозяйства отрывали... Вот они и восстали.

Приходится только сожалеть, что былина эта так и осталась в замыслах сказителя. Может, в уме она у него и сложилась, да он не записал ее. Ведь он далеко не все с о е записывал. Времена были не те.

РАССКАЗЫВАЕТ АНАСТАСИЯ ПЕТРОВНА

Когда объявили эвакуацию, уполномоченные уверяли нас, что мы покидаем свой дом совсем ненадолго. Мы верили всему, что нам говорили. Казалось, с наступлением весны вернемся под родную крышу. Потому брали с собой лишь самое необходимое — попить-поесть на дорогу да одежду потеплее. Много брать-то и не разрешали. Но обернулось все по-другому: пришлось жить нам в чужих краях целых четыре года.

Памятные предметы наших сказителей тоже остались дома. Разве могли мы думать, что они погибнут! Приехали — ничего, кроме голых стен, не обнаружили. Перебрались в Петрозаводск, а без хозяйского присмотра какое восстановление?

Время было трудное. И фольклористов, и общественность вопросы былинного творчества тогда интересовали мало. Стоит ли удивляться, что дом Рябининых тоже не сохранился... А что могла сделать семья без помощи

государства, без всяких на то средств? Ведь и сами Кижы, если иметь в виду храмовые строения, нуждались в защите, которой не было. Уцелели они чудом, никто о них не заботился. Сколько-то лет после войны здания церквей были приспособлены под склады и сараи. До частных домов и руки не доходили.

Хорошо, что в последние годы вновь заговорили о сказителях, их творческом наследии. Так почему не переиздать — я упорно это повторяю — былины моего деда Ивана Герасимовича и отца Петра Ивановича? Издать бы, наконец, их под одной обложкой...

О своем отце рассказывать трудно. Невольно вспоминаются самые лучшие и светлые страницы. Всех он нас любил, старался сделать так, чтобы мы успешно учились, постигали жизнь и не прятались от трудностей. Даже в письмах с фронта стремился нас подбодрить. Писал, что чувствует себя хорошо, живет в тепле и ест из солдатского котла досыта. Мы были рады этому, и только теперь, задним умом, я понимаю, что он просто хотел нас утешить.

Отец прививал нам любовь к родному слову и к книге, передал детям цельность своей крестьянской натуры. Что касается лично меня, то я, наверно, не без влияния отца посвятила жизнь работе с книгой в системе Карельского книготорга. За многие годы познакомилась со всеми писателями Карелии. Большинство из них еще знали Петра Ивановича и многое могли вспомнить, каждый раз с какой-то новой стороны представляя его характер, сказительские особенности. Но пересказывать их считаю неправомерным — надеюсь рано или поздно увидеть эти «чужие» воспоминания напечатанными.

...В Кижях как тип деревянной жилой постройки имеется дом крестьянина Елизарова. Почти точная копия нашего дома в Гарницах. Его можно было бы подрестав-

рировать, заодно придав типичные черты рябининского дома, и организовать в нем музей сказителей Заонежья. Достойное место здесь заняла бы и династия Рябининых-Андреевых. Затраты были бы небольшие, а дело — очень полезное. Пора подумать хоть о каком-то вещественном памятнике северного былинного эпоса.



Костин И. А.

К72 **Острова сокровищ: Повесть о сказителях.—**
М.: Сов. Россия, 1991.—192 с.

Сокровищницами русского эпоса по праву можно назвать два острова Онежского озера — Киж и Большой Клименицкий, с которыми связано творчество знаменитых сказителей Рябининых и Рябининых-Андреевых. Автор посвященной им повести, сам уроженец Заонежья, не ставит цель с позиций науки оценивать традиции былинного слова, сберегавшиеся четырьмя поколениями этой родовой ветви на протяжении более чем двух веков; главное внимание обращено на «реставрацию» эпох, характеристику социальной среды и быта северной деревни, портреты сказителей. Стержень повествования — личные воспоминания живущих ныне потомков Рябининых, семейные предания, что придает описываемым событиям особый колорит. Перед читателем встает образ Севера как своеобразного заказчика, где былины сохранились в том самом виде, в каком они были у наших далеких предков.

К 4702010201—092 **КБ—27—1991 № 041**

М-105(03)91

I S B N 5—268—00064—0

8РФ

Иван Алексеевич Костин
ОСТРОВА СОКРОВИЩ

Редактор **М. С. Черникова**
Художественный редактор **А. П. Сафонов**
Технический редактор **И. И. Павлова**
Корректор **М. Е. Козлова**